Серен

Керкегор

Повторение

Москва
Лабиринт

Søren
Kierkegaard

Gjentagelsen

Moskva
Labyrinth

Повторение

Опыт

экспериментальной психологии

Константина Константиновича

Против элеатов, отрицавших движение, выступил, как известно, Диоген — именно выступил, так как не сказал ни слова, только прошагал несколько раз взад и вперед, полагая, что тем самым вполне доказал противное. — Я сам долго занимался, — хотя и с перерывами, — проблемой повторения: возможно ли оно и каково его значение, выигрывают или теряют вещи от повторения. И тут мне пришло в голову еще раз съездить в Берлин, где я уже бывал однажды, и проверить, возможно ли повторение и в чем его значение. Сидя дома, я никак не мог разрешить этой проблемы, а ведь ей, что бы ни говорили, предстоит играть весьма важную роль в новейшей философии: *повторение* есть исчерпывающее выражение для того, что у древних греков называлось *воспоминанием*. Греки учили, что всякое познавание есть припоминание, новая же философия будет учить, что вся жизнь — повторение. Лейбниц был единственным из новых философов, угадывавший это. Повторение и вспоминание — одно и то же движение, только в противоположных направлениях: вспоминание обращает человека вспять, вынуждает его повторять то, что было, в обратном порядке, — подлинное же повторение заставляет

человека, вспоминая, предвосхищать то, что будет. Поэтому повторение, если оно возможно, делает человека счастливым, тогда как воспоминание несчастным, если, конечно, человек даст себе время пожить, а не сразу, в самый же час своего рождения, постарается улизнуть из жизни под каким-нибудь предлогом, типа: прошу прощения, забыл кое-что прихватить с собой.

Один писатель сказал, что единственная счастливая любовь это любовь-воспоминание или любовь, ставшая воспоминанием. Он, несомненно, прав, надо только помнить, что воспоминание сначала делает человека несчастным. Единственная же поистине счастливая любовь — это любовь-повторение. В ней, как и в любви-воспоминании, нет тревог надежды, жуткой фантастики открытий, но нет и грусти воспоминания, в ней блаженная уверенность настоящей минуты. Надежда — новое платье, туго накрахмаленное и блестящее, его еще ни разу не надевали, и неизвестно, пойдет ли оно тебе и придется ли по фигуре. Воспоминание — сброшенная одежда, которая, как бы ни была красива, уже перестала быть впору, так как человек из нее вырос. Повторение — неизносимое одеяние, которое свободно и вместе с тем плотно облегает фигуру, нигде не жмет и нигде не висит мешком. Надежда — прелестная девушка, ускользающая из рук; воспоминание — красивая зрелая женщина, время которой уже прошло. Повторение — любимая жена, которая никогда не наскучит. Ведь наскучить и надоесть может только новое. Старое же не надоедает никогда; отдавшись ему, становишься счастливым. И поистине счастливым становится лишь тот, кто не морочит себя воображением, что повторение должно содержать нечто новое: вот тогда-то оно действительно может надоесть. Невозможно надеяться, невозможно и

отдаться воспоминанию без юношеского увлеченья; для того же, чтобы желать повторения, нужно зрелое мужество. Тот, кто хочет жить лишь надеждою, труслив, кто хочет жить лишь воспоминаниями, празден; но кто хочет повторения, тот серьезный человек, и чем сильнее и сознательнее он хочет этого, тем он глубже как личность. Тот же, кто не понимает, что вся жизнь — повторение и что в этом ее красота, тот сам себя осудил, загубил и не заслуживает лучшей участи. Надежда лишь заманчивый плод, которым, однако, сыт не будешь, воспоминание — жалкий грош про черный день, а повторение — хлеб насущный, благодатно насыщающий. Лишь охватив существование в целом, обнаружишь, достаточно ли у тебя мужества, чтобы понять, что жизнь есть повторение, и готовности радоваться этому. Кто не задумался о жизни прежде, чем начать жить, тот никогда и не будет жить по-настоящему. Кто, думая о ней, пресытился, тот обладает слабым организмом. Кто выбрал повторение, тот живет. Он не гоняется, как ребенок, за мотыльками, не становится на цыпочки, чтобы взглянуть на чудеса мира, — он их знает! — но и не сидит по-старушечьи за прялкою воспоминания, нет, он спокойно идет своей дорогою, радуясь повторению. Да не будь жизнь повторением, чем бы она была тогда? Кто захотел бы быть доской, на которой настоящее ежеминутно пишет новые письмена или эпитафии прошлому? Кто захотел бы поддаваться мимолетным, все новым и новым впечатлениям, которые только балуют да соблазняют? Даже если бы сам Господь не желал повторения, мир никогда бы не создался. Тогда Бог или довольствовался бы одними планами, замыслами, или уничтожил бы создаваемое, чтобы хранить его в воспоминании. Он этого не сделал, и потому мир существует и держится на том, что жизнь повторение. Повторение

— сама действительность; повторение — это смысл существования. Кто хочет повторения, тот созрел духовно. Это мое личное мнение, в которое входит также то, что смыслом жизни нельзя считать посиживание в кресле да ковыряние в зубах, будучи, например, его превосходительством, или чинное расхаживание по улицам, будучи его преподобием, как нельзя полагать смысл жизни и в том, чтобы состоять придворным берейтором. Все подобное в моих глазах лишь время-препровождение, а не жизнь, забава, и при том невысокого сорта.

Любовь-воспоминание — единственная счастливая любовь, как сказал один писатель. Впрочем, насколько мне известно, его слова порой обманчивы — не в том смысле, что он говорит одно, имея в виду другое, но в том, что, мистифицируя, он доводит до крайности свою мысль, и если не следовать ей с тем же размахом, через мгновение она будет значить уже совсем другое. Его слова легко принять за правду и тут же забыть о том, что сама фраза — выражение глубочайшей меланхолии, столь мрачной, что она не может высказать себя лучше, чем в трех словах.

С год тому назад я серьезно заинтересовался одним молодым человеком, с которым встречался уже и раньше. Мне нравилась его красивая внешность и выразительные глаза, а манера закидывать голову и полемический задор убеждали в том, что он человек необычный; некоторая же неуверенность тона указывала, что он находился в том соблазнительном возрасте, когда зрелость души подобно физической зрелости в значительно более ранней стадии, — сказывается частыми срывами голоса. Встречаясь с ним в одном кафе, я смог приручить его, внушить к себе доверие и в разговорах умел так или иначе вызвать наружу таившуюся в нем меланхолию, подобно тому, как

Фаринелли вытягивал безумного короля из его мрачного одиночества, — правда, я обходился без клещей, принимая во внимание юный возраст и гибкость души моего друга.

Таковы были наши отношения, когда он с год тому назад явился ко мне сам не свой. Осанка его была еще мужественнее обычного, лицо еще прекраснее, большие глаза как будто стали еще больше и лучистее, словом, он весь как бы преобразился. Он признался мне, что влюблен, и я невольно подумал, как должна быть счастлива та девушка, которая внушила такую любовь. Выяснилось, что влюблен-то он был уже давно, но скрывал это даже от меня. Теперь же он был у цели своих желаний: он признался ей и убедился, что любим взаимно.

Несмотря на всю свою склонность не выходить в сношениях с людьми из роли хладнокровного наблюдателя, я не мог выдержать характер в данном случае. Как-никак, горячо и глубоко влюбленный молодой человек — настолько прекрасное зрелище, что при виде его только радуешься, забывая наблюдать. Вообще все глубокие человеческие чувства сразу обезоруживают в другом человеке бесстрастного наблюдателя. Лишь встречая душевную пустоту или кокетливую маскировку душевных движений, хочется преимущественно наблюдать. Застав, например, человека погруженным в горячую молитву, скорее всего, будешь сам невольно охвачен молитвенным настроением, и во всяком случае надо быть чудовищем, чтобы вздумать наблюдать за молящимся. Зато, слушая патетическую, заученную декламацию пастора, в которой он многократно и в самых изысканных выражениях заверяет прихожан (безо всякого побуждения с их стороны), что его проповедь — выражение простой веры, не обученной красивым фразам, но окрыляю-

11

щей его в молитве, веры, которую (по его собственному признанию, сделанному, очевидно, не без основания), он тщетно искал в поэзии, искусстве и науках, — слушая это, сам весь превращаешься в слух и зрение и преспокойно критикуешь каждое словечко, каждый жест.

Любовь молодого человека, о котором я рассказываю, была глубока, искренна, скромна и красива. Давно ничто не доставляло мне такого удовольствия, как это зрелище. Ведь часто роль наблюдателя оказывается довольно-таки печальной и способна развить в человеке меланхолию, как и должность полицейского. Наблюдатель по призванию, добросовестно исполняющий свои задачи, является своего рода сыщиком высшего полета: искусство наблюдателя в том и заключается, чтобы выслеживать сокровенное.

Молодой человек говорил о девушке, в которую был влюблен, но не болтал лишнего и не впадал в пошлое восторженное рецензирование, как нередко случается с влюбленными. Он и не хвалился, не выставлял себя молодцом, сумевшим обворожить такую девушку, и не проявлял самонадеянности. Любовь его была здоровой, чистой и цельной.

С милой откровенностью он признавался мне в истинной причине своего посещения: ему нужен был наперсник, человек, в присутствии которого он мог бы вслух разговаривать с самим собою, так как боялся, что иначе просидит целый день у возлюбленной и надоест ей. Он сегодня уже неоднократно подходил к ее дому, но каждый раз заставлял себя повернуться и уйти. И вот решил попросить меня прокатиться с ним за город, чтобы помочь ему скоротать время. Я охотно согласился. С той минуты, как он во всем мне открылся, он мог безусловно рассчитывать на меня.

12

В ожидании, пока подадут экипаж, я присел написать несколько писем, а ему предложил выкурить трубку или посмотреть альбом. Но он не нуждался ни в каком таком времяпрепровождении, он был достаточно занят своими чувствами. Ему даже не сиделось на месте, он быстро шагал по комнате, и вся его манера держать себя, походка, жесты были необычайно красноречивы, он весь прямо горел любовью. Как виноградины, вполне созрев, становятся светлыми и прозрачными, налитыми соком, что вот-вот брызнет, — так все его существо было переполнено и светилось любовью, готовою перелиться через край. Я не мог удержаться, чтобы не поглядывать на него украдкой почти влюбленными глазами: такой юноша, пожалуй, увлекательнее молодой девушки.

Влюбленные вообще любят стихами выражать сладкое волнение любви, свою блаженную радость, и мой молодой друг не был исключением. Шагая по комнате, он без конца повторял стихи Поуля Мёллера:

"И склонилась мечта надо мною,
Грезы юной весны моей...
Солнце женщин! С какою тоскою
Вспоминаю ласки твоих лучей!..."

Глаза его наполнились слезами, он бросился в кресло и повторял, повторял эту строфу без конца.

Меня эта сцена сильно взволновала. Великий Боже! Такой меланхолической натуры мне еще не случалось наблюдать. Мне конечно, была известна эта его склонность, но все-таки, чтобы любовь подействовала на него так?! А еще говорят, что стоит человеку влюбиться, и все как рукой снимает. Нет, если человек склонен к меланхолии, душа его не преминет погру-

зиться в мрачное созерцание того, что стало для него теперь дороже всего.

Ясно было, что мой юный друг влюбился искренно и глубоко, и все-таки он готов был сразу начать переживать свою любовь в воспоминании. В сущности, значит, он уже совсем покончил с реальными отношениями к молодой девушке. Он в самом же начале делает такой огромный скачок, что обгоняет жизнь. Умри девушка завтра, это уже не внесет в его жизнь никакой существенной перемены — он снова бросится в кресло, глаза его наполнятся слезами, и он вновь будет повторять слова поэта. Какая странная диалектика! Он тоскует по возлюбленной, он должен силой заставить себя оторваться от нее, чтобы не торчать подле целый день, и все же он с первой же минуты превратился по отношению к молодой девушке в старика, живущего воспоминанием. Очевидно, его любовь являлась каким-то недоразумением. Давно ничто не захватывало меня так, как вся эта история. Яснее ясного было, что молодой человек будет несчастен, и девушка тоже, хотя характер ее несчастья и не угадывался мною сразу. Что же касается его самого, то вот уж про кого можно было сказать: ему и карты в руки по части "любви-воспоминания". Воспоминание имеет большое преимущество — начинаясь с потери, оно уверено в себе, потому что ему больше терять нечего.

Экипаж подали. Мы поехали по морскому берегу, чтобы потом свернуть в лес. Став на этот раз почти против своей воли наблюдателем, я уже не мог удержаться от разных экспериментов, принялся измерять и проверять ход меланхолии молодого человека, слегка затрагивая в нем струны различных эротических настроений. Никакого отзвука! Я следил за действием сменяющейся обстановки, — напрасно! Ни широкий простор моря, ни умиротворяющая тишина лесная, ни

14

манящая в уединение вечерняя заря не могли рассеять тяжелой, страстной тоски молодого человека, тоски, которая не столько влекла его к возлюбленной, сколько отдаляла от нее. Его заблуждение было роковым, и заключалось оно в том, что он очутился у конца, когда ему следовало бы находиться еще у начала, — а такое заблуждение не может не быть гибельным для человека.

Тем не менее я утверждаю, что его настроение было вполне нормальным с эротической точки зрения, и что тот, кто, влюбившись, не пережил такого настроения именно в начале, никогда и не любил в сущности. Однако все-таки оно должно было быть несколько иным. Усиленное вспоминание — вечное выражение зарождающегося чувства, знак истинной любви. Но чтобы насладиться ею, нужно обладать гибкостью ироника. Этого как раз и недоставало моему другу с его чересчур нежной душой. Должно быть, правду говорят, что жизнь человека в первое мгновение после рождения прерывается и требуется жизненная сила, убивающая смерть и переводящая ее в жизнь. На заре любви настоящее и будущее борются за то, чтобы выразить себя в вечности, и переживание юной любви в воспоминании — это обратное течение вечности, вливание ее в настоящее, — конечно, если само воспоминание не болезненно.

Мы вернулись домой; я простился с моим юным другом, но его переживания успели уже настолько захватить меня, что я не мог отделаться от мыслей о нем и не тревожиться предчувствием неминуемой и скорой катастрофы.

В течение следующих недель он время от времени заходил ко мне. Выяснилось, что он сам уже начал понимать недоразумение: юная возлюбленная стала ему почти в тягость. В то же время он продолжал лю-

бить ее, одну ее в целом мире, другой он не любил и никогда не мог полюбить. Вместе с тем он все-таки не любил ее, а лишь тосковал о ней. С ним самим произошла вдобавок замечательная перемена за это время: в нем вспыхнула искра поэтического творчества и разгорелась таким огнем, что я был поражен. И все стало мне ясно. Молодая девушка не была его настоящей любовью, она была предлогом, поводом к тому, чтобы в нем пробудился поэт. Вот почему он и мог любить ее лишь в том смысле, что уже не в силах был никогда забыть ее, полюбить другую, но при этом лишь тосковать о ней постоянно, а не желать ее. Она стала частью его существа, и память о ней была вечно свежа. Девушка имела для него громадное значение: она превратила его в поэта, а себе тем самым подписала смертный приговор как возлюбленная.

Чем дальше, тем положение молодого человека становилось все более и более мучительным. Меланхолия все сильнее овладевала им, его физические силы таяли в этой борьбе. Он понимал, что делает девушку несчастной, и в то же время не сознавал за собою вины. Но именно эта собственная безвинная виновность в ее несчастье и возмущала, мучила его. Признаться девушке во всем чистосердечно значило, по его мнению, оскорбить ее до глубины души. Это ведь равнялось признанию ее существом менее совершенным, которое он опередил в своем развитии, признанию ее пройденною ступенью, с которой он уже шагнул выше. Да и к чему бы это привело? Раз она узнала бы, что он никогда не полюбит другую, она бы осталась его неутешной вдовой, живущей лишь памятью о нем и об их любви. Нет, он не мог сделать такого признания! — его гордость страдала при одной мысли об этом, страдала за девушку, а не за себя.

Все больше и больше запутываясь в сетях меланхолии, он решился продолжать фальшивую игру. Он обратил весь свой оригинальный поэтический дар на то, чтобы радовать и развлекать девушку. То, что могло бы обогатить многих, тратилось на нее одну, она была и оставалась его возлюбленной, единственным обожаемым существом, хотя он и сходил с ума от страха перед чудовищной ложью, которою он опутывал ее все крепче и крепче. Существование девушки само по себе, в сущности, не имело для него значения, его мрачной натуре радостно было только всячески скрашивать ей жизнь.

Сама девушка, разумеется, блаженствовала; она нечего не подозревала, а духовная пища, которую он подносил к ее устам, была так сладка! Поэтом в полном смысле слова он быть не хотел, — тогда бы ему пришлось покинуть девушку; посему он, как сам выразился, подстригал свое творчество ножницами, составляя лишь поэтические букеты для возлюбленной. Она же ничего не подозревала. Еще бы! Слишком возмутительно было бы, если бы молодая девушка была настолько себялюбива, чтобы тешиться меланхолией человека.

Тем не менее, такие случаи возможны, и я однажды готов был заподозрить упомянутые отношения. Нет ничего соблазнительнее для девушки, чем стать предметом любви столь поэтической, меланхолической натуры. И раз у нее хватит эгоизма вообразить, что вся суть любви в том, чтобы привязать человека покрепче, вместо того, чтобы отказаться от него, она поставит перед себой весьма легкую жизненную задачу, выполняя которую обретет и почет, и чистую совесть (как награду за верность), и вместе с тем самую утонченную любовь. Боже нас сохрани от такой любви и верности!

17

Однажды молодой человек опять зашел ко мне. Темные силы души окончательно взяли в нем перевес: он проклинал весь мир, свою любовь и любимую девушку. После этого он ко мне больше не являлся. Вероятно, он не мог простить себе столь откровенного признания другому человеку, что девушка стала ему в тягость. Теперь он сам испортил себе все, даже ту радость, которую испытывал, поддерживая в девушке гордость, превращая ее в богиню. Он стал избегать меня, а если мы встречались, никогда не разговаривал, стараясь в то же время казаться веселым и спокойным. Я решил провести следствие и с этой целью начал зондировать людей, окружающих его.

Имея дело с меланхоликами, скорее всего добиваешься самых верных сведений через прислугу. Какому-нибудь лакею, служанке — старой семейной рухляди меланхолик зачастую открывает больше, чем людям, равным ему по воспитанию и положению. Я знавал одного меланхолика, который грациозным танцором скользил по паркету жизни и обманывал всех, меня в том числе, пока я не напал на верный след с помощью парикмахера. Это был человек пожилой, нуждающийся, и сам прислуживал своим клиентам. Сострадание к парикмахеру и вызвало меланхолика на откровенность, поэтому парикмахер знал то, чего вообще никто не подозревал.

Мой юный друг, однако, избавил меня от хлопот, снова прибегнув ко мне. Но, твердо решив не переступать больше моего порога, он предложил видеться в известные часы где-нибудь на стороне. Я согласился и для этой цели запасся билетами на право ужения в пруду за городским валом.

Там мы встречались по утрам на заре, в те часы, когда день еще борется с ночью, когда даже среди лета в природе чувствуется холодная дрожь. Мы шли

в утреннем тумане, по траве, обрызганной дымящейся росою, и птицы испуганно взлетали со сна, потревоженные его воплями. Расставались же мы в тот час, когда день одерживал победу, когда молодая девушка, лелеемая его скорбью, поднимала голову с подушки и открывала глаза, покинутая богом сна, на смену которому прилетал бог грез и, касаясь своими перстами ее век, вновь погружал ее в легкую дремоту и шептал о чем-то так тихо, едва уловимо, что она все забывала, очнувшись; в этот час мы расставались, и что бы ни рассказывал девушке бог грез, ей и не грезилось того, что происходило между нами.

Не диво, что мой юный друг побледнел. Не диво, что и у меня краски сбежали с лица после того, как я наслушался признаний его и ему подобных людей.

Прошло еще некоторое время, и я, право, измучился вместе со злополучным молодым человеком, который положительно таял день ото дня. Тем не менее я не жалел, что согласился делить его страдания. В его любви была все-таки идея! Такую любовь, слава Богу, еще можно встретить иногда в жизни, но напрасно искать ее в романах и повестях. А лишь такая любовь и имеет значение. Без восторженного убеждения в том, что идея жизненный принцип любви, без готовности пожертвовать, если понадобиться, ради идеи самою жизнью, даже больше — самою любовью, как бы ни благоприятствовали ей внешние житейские условия, — без всего этого нет поэзии. Напротив, если в любви правит идея, то имеет значение каждое, даже мимолетное движение души, так как тогда всегда налицо самое главное — поэтическая коллизия, которая, насколько мне известно, может быть и куда ужаснее той, которую я здесь описываю. Но служение идее (что в области любви не означает служения двум господам) — труднейшее дело. Никакая красавица не

может быть притязательнее идеи, и девичья немилость не способна угнетать человека тяжелее сознания, что он заслужил гнев богини идеи; этого гнева уже нельзя забыть.

Если бы я захотел подробнее описывать настроения моего юного друга, какими их видел я, не говоря уже о том, чтобы, по примеру беллетристов, примешать к этой истории массу посторонних вещей, как то: обстановку, костюмы, красивые ландшафты, родственников, друзей и пр., — то историю эту можно было бы растянуть в длиннейшую повесть. Но на это у меня нет охоты. Я, правда, ем салат, но всегда выбираю одни сердцевинки, листья же считаю кормом для свиней и вместе с Лессингом предпочитаю сладость зачатия мукам рождения. Если кому вздумается возразить мне, — сделайте одолжение, мне все равно.

Время шло, и я по возможности не пропускал этих утренних бдений, на которых юный друг мой отводил душу жалобами и запасался силами на весь предстоящий день, который целиком посвящал любимой девушке, чарованию ее. Как прикованный Прометей, терзаемый орлом, приковывал внимание богов своею пророческой тайной, так он приковывал свою возлюбленную. Каждый день он напрягал все свои силы до крайности, ибо каждый день был последним. Долго так длиться не могло, и он грыз сковывавшую его цепь. Чем, однако, сильнее бушевали в нем страсти, тем блаженнее становились его песни, тем нежнее его речи, тем крепче его цепь. Создать из этого недоразумения реальные отношения было для него невозможно, это было бы равносильно принесению девушки в жертву вечному обману. Объяснить же ей недоразумение, выяснить, что она была лишь воплощением грезы, в то время как его мысль, его душа искали совсем другого, что они и подменяли ее, — значило бы

оскорбить ее слишком глубоко, и вся его гордость восставала против этого. Для него не могло быть ничего противнее такого способа распутать завязавшийся узел. И он был прав. Отвратительно обманывать и соблазнять девушку, но еще отвратительнее не просто бросить ее, как обыкновенный негодяй, но благородно ретироваться под предлогом, что она была не идеалом, а только музой, пусть де этим и утешается. Подобное отступление, конечно, вполне удается, если только у человека есть навык заговаривать девушкам зубы; девушка волей-неволей удовлетворится таким объяснением, и он ускользнет благополучно, сохранив репутацию порядочного, даже милого человека, а в сущности-то девушка окажется оскорбленной куда глубже той, которую обманут попросту.

Вот почему в тех случаях, когда любовь не может быть скреплена браком, деликатность всего оскорбительнее, и человек, сколько-нибудь смыслящий в любви и не трус, сразу видит, что единственное средство здесь — быть бесцеремонным, если хочешь спасти достоинство девушки.

Чтобы положить конец мучениям молодого человека, я стал уговаривать его решиться на крайнее средство. Оставалось только выбрать, на какое именно. И вот я предложил: "Порвите с нею, превратите себя в ее глазах в презренного человека, у которого одно удовольствие — смущать людей, запутывать, обманывать. Если это вам удастся, между вами установится известное равенство, не будет больше и речи об эстетических различиях, которые давали бы вам перед нею какие-нибудь преимущества как личности исключительной, каковой люди склонны предоставлять всякие преимущества. Девушка окажется торжествующею стороною, так как выйдет из всей этой истории абсолютно правой, а вы будете кругом виноваты. Но

не порывайте слишком круто, это способно лишь разжечь любовь. Постарайтесь сначала по мере возможности внушить неприязненное чувство к себе. Не дразните ее — это также воспламеняет. Нет, прикиньтесь непостоянным, вздорным, делайте сегодня одно, завтра другое, но без увлечения, а так, спустя рукава. При всем этом не позволяйте себе небрежности, невнимания к ней, напротив, с внешней стороны внимание ваше к ней не должно ничуть ослабевать, нужно только придать ему чисто формальный характер, отнять у него всякую искренность. Проявляйте постоянно вместо горячей привязанности тошнотворное подобие любви, которая ни то, ни се, ни равнодушие, ни увлечение. Пусть все ваше поведение возбуждает в ней столь же неприятное чувство, как, скажем вид слюнявого человека. Но не начинайте игры, если чувствуете, что у вас не хватит сил довести ее до конца. Тогда беда! Нет существа догадливее молодой девушки, — когда надо решить вопрос: любима она или нет. И нет операции труднее, чем применение скальпеля к самому себе; этим орудием в духовном смысле умеет управлять лишь время. Когда же дело будет поставлено на рельсы, дайте мне знать, и все остальное я беру на себя. Вы распустите слух, что затеяли новую любовную интригу, *et quidem* довольно непоэтического характера, иначе вы опять рискуете только разжечь девушку. В действительности-то вы, я знаю, ни на что подобное не способны; для вас она останется единственной вашей любовью, хотя вы лишены возможности пересадить это ваше поэтическое отношение к ней на почву реальной любви. В основе пущенного вами слуха должна, однако, быть доля правды, об этом я позабочусь. Я присмотрю здесь в городе девушку, с которой заключу договор".

22

Побудила меня выработать такой план не одна симпатия к молодому человеку, не скрою, что меня стала брать досада на его возлюбленную. Ну можно ли в самом деле так-таки и не замечать ничего?! Не подозревать ни о его мучениях, ни об их причине и пальцем не пошевелить, чтобы сделать для него то, в чем он так нуждался и что было в ее силах, то есть не возвратить ему свободы, которая одна только и могла его спасти. — при условии, что девушка сама вернула бы ее ему. Ведь своим великодушием она как раз восторжествовала бы над ним, а не осталась бы униженною, оскорбленною. Да, я готов простить девушке все, кроме одного: если она, любя, ошибается в задаче своей любви. Раз в любви девушки нет самопожертвования, она не женщина, но мужчина, и тогда я всегда готов с удовольствием обречь ее в жертву мести или насмешке.

Вот в самом деле задача для комедиографа — изобразить такую девушку, которая извела человека своею любовью до того, что он в отчаянии порывает с нею, — изобразить ее покинутою Эльвирою. То есть такою Эльвирою, которая пожинает лавры в роли покинутой, которую оплакивают сочувствующие родные и друзья, которая играет первую скрипку в "музыкальном кружке покинутых", рассказывает с чувством и толком о мужском вероломстве — причине ее близкой смерти, и проделывает это с таким апломбом, что ясно, ей и на полсекунды не приходит в голову, насколько ее любовь и верность способны были доканать возлюбленного. Да, велика женская верность, — особенно когда о ней не просят, — велика, если бы возлюбленный такой Эльвиры, несмотря на всю плачевность своей судьбы, сохранил достаточно юмора, чтобы не тратить на героиню ни единого гневного слова, но ограничиться более глубокою местью,

оставив девицу в том приятном заблуждении, что она обманута им самым постыдным образом.

Будь возлюбленная моего юного друга девушкой такого сорта, я ручаюсь, что избранный мною род мести (если бы только молодой человек сумел выполнить мой план) оказался бы самым жестоким с точки зрения поэтической правды. Друг мой был бы убежден, что поступает наилучшим образом, насколько это в его власти, и все-таки девушку, — если бы только она оказалась эгоисткой, постигла бы самая тяжкая для нее кара. Он обошелся бы с нею со всею деликатностью влюбленного человека, а она все-таки была бы наказана больнее всего, если бы оказалась эгоисткой.

Молодой человек согласился, вполне одобрил мой план, а я отыскал то, что мне было нужно, в лице одной модисточки, молодой и очень хорошенькой девушки, будущее которой я обещал обеспечить, если она посодействует выполнению моего плана. Молодому человеку предстояло показываться с нею публично и навещать ее в такое время, чтобы не оставалось сомнений в их связи. Для этой цели я наметил для нее квартирку в доме с проходным двором на две улицы, так что молодому человеку стоило только пройти там поздно вечером, чтобы дать пищу сплетням. Мне же оставалось позаботиться о том, чтобы все это не осталось в свое время тайной для его возлюбленной. Модисточка была недурна собою, но именно в таком роде, чтобы возлюбленная не могла приревновать к ней моего друга, а могла только удивляться его вкусу. Если бы я когда-нибудь видел его возлюбленную, то подыскивал бы девушку в совершенно другом вкусе; но поскольку я ни в чем не был уверен относительно первой и не хотел лукавить с молодым человеком, я делал выбор только в интересах нашего с ним замысла.

Модисточка была приглашена на целый год, но их отношения должны были длиться до тех пор, пока возлюбленная моего друга не будет окончательно поражена и сражена. В течение этого срока самому молодому человеку предстояло расколоть и преодолеть свое поэтическое существование. В случае удачи должно было установиться *redintegratio in statum pristinum*. И для его возлюбленной было очень важно самой выпутаться из связывающих их отношений, ведь он не обмолвился с ней ни словом о возможных последствиях нашей операции, которую собирался произвести. И если к решающему моменту повторения она бы уже лишилась всех своих сил, — что ж, значит, молодой человек поступил по крайней мере великодушно.

Итак, дело налажено. Я уже держал в руках все нити и с большим нетерпением ожидал, что будет. Вдруг мой юный друг скрылся, скрылся совсем. Видно, у него не хватило твердости провести мой план. Душе его не доставало гибкости иронии. У него не было ни силы дать обет иронического молчания, ни силы молчать, — а лишь тот, кто умеет молчать, может добиться чего-нибудь в жизни. Лишь тот, кто действительно умеет любить, является человеком, и лишь тот, кто умеет придать своей любви любое выражение, является художником. В известном смысле, пожалуй, хорошо было со стороны молодого человека не начинать игры; вряд ли у него хватило бы характера выдержать все "ужасы приключения", и я уже с самого начала побаивался за него, видя, как он нуждается в наперснике. Кто умеет молчать, изобретает новую азбуку, в которой столько же букв, сколько и в обыкновенной, и которая позволяет ему выражать на своем условном языке все, так что нет вздоха столь глубокого, чтобы он не подобрал на своем языке соответст-

вующего этому вздоху аккорда смеха, нет мольбы, которую он не смог бы отпарировать остротой. Правда, настанет минута, когда ему покажется, что он сходит с ума. Но это будет всего одна минута, несомненно, ужасная, нечто вроде того пароксизма рабочей лихорадки, который наступает ночью, между половиной двенадцатого и двенадцатью часами. В час ночи работа уже идет лучше, чем когда-либо. Как только удастся превозмочь это минутное безумие, — за победой дело не станет.

Но я несколько увлекся, доказывая, что именно любовь-воспоминание делает человека несчастным. Мой юный приятель не понимал повторения, не верил в него и не хотел решиться на него со всей отвагой. Беда его была в том, что он действительно полюбил девушку, но, чтобы продолжать действительно любить ее, ему сначала нужно было выдержать искус поэтического брожения души. Он мог признаться в этом девушке тогда, желая разорвать с ней все отношения, он поступил бы благопристойнее всего. Но открыться он как раз и не хотел, — тут я с ним согласен: было бы неправильно отнимать у нее возможность жить и поступать самостоятельно или не давать ей возможных поводов для презрения, а самому больше не тревожиться о том, что ему никогда уже не удастся возместить ей потерю.

Верь молодой человек в повторение, что могло бы выйти из него! Какой бы глубины понимания он достиг в жизни!..

Однако я немного забежал вперед. Ведь я собирался рассказать о всего лишь тех первых минутах, когда стало ясно, что молодой человек — настоящий печальный рыцарь единственно счастливой любви-воспоминания. Надеюсь, читатели позволят мне вновь мысленно вернуться к тому мгновению, когда он, уже

опьяненный любовью-воспоминанием, появился у меня в комнате, — с признаниями, что стоит ему вспомнить строки Поуля Мёллера, его сердце "ging ihm über", и он должен сдерживать себя, чтобы не просидеть подле своей возлюбленной весь день. Те же строки он повторял и в вечер нашего расставания. Едва ли мне когда-нибудь позабыть это стихотворение; даже день его исчезновения я скорее вычеркну из памяти, чем те мгновения. Конечно, и известие о его пропаже потрясло меня гораздо меньше, чем сцена у меня в комнате. Я так устроен, что первое же содрогание предчувствия мгновенно разворачивает в моей душе все те последствия, которые зачастую становятся очевидными по прошествии долгого времени. Концентрацию ожидания вообще никто не в силах забыть. По-моему, уметь предчувствовать должен каждый наблюдатель, хотя, конечно, эта способность приносит ему и немало страданий: первые минуты обостренного внимания могут довести почти до обморока, но с тем же приступом слабости в него входит идея, и в ее прикосновении является действительность. Если человек не может по-женски повернуть идею в правильное соотношение с собой, всегда благодатное, то напрасен его дар наблюдателя, ибо тому, кому не открывается все, не открывается собственно ничего.

Еще в тот первый вечер, когда он на прощанье горячо благодарил меня за то, что я помог ему скоротать время, слишком медленно тянувшееся для его нетерпеливого ожидания, я подумал про себя: пожалуй, он настолько откровенен, что расскажет девушке все, — и она полюбит его еще сильнее. Но отважился ли он на это? Спроси он моего совета, я бы его отговорил, наставляя: "Будьте тверды с самого начала — с точки зрения любовных отношений это благоразумнее всего, если только вы настолько серьезны, чтобы

подумать еще и о чем-то более высоком". Так что, если он рассказал, то поступил неумно.

Кто имел случай наблюдать молодых девушек, подслушивать их разговоры, верно, слыхал такие отзывы: N.N. человек хороший, но скучный, зато X.X. такой интересный, пикантный! Слыша такие слова из уст молоденькой барышни, я всегда думаю: постыдилась бы! Как можно говорить такое! Ведь если молодой человек собьется с пути в погоне за "интересным", — кто же может спасти его, кроме молодой девушки? И не грешно ли тогда со стороны молодых девушек ударять по таким струнам? Ведь одно из двух: или данный мужчина не в состоянии удовлетворить их жажду интересного, — и тогда неделикатно требовать этого, или же он в состоянии, и тогда... Молодой девушке ради осторожности меньше всего следует играть на струнке интересного; девушка, позволяющая себе это, всегда проигрывает в идейном смысле, ведь интересное не допускает повторения; наоборот, девушка, не осмеливающаяся на это, всегда выигрывает.

Лет шесть тому назад я во время одной загородной прогулки остановился пообедать на постоялом дворе, милях в восьми от города. Хороший обед привел меня в отличное настроение, и я, стоя у окна с чашкой кофе в руках, с удовольствием вдыхал его аромат. Вдруг мимо окна прошла легкой, грациозной походкой девушка и завернула во двор. Решив, что она направилась в прилегающий к дому сад, я — молодость берет свое! — поторопился проглотить кофе и закурить сигару, чтобы проследовать этому заманчивому приглашению судьбы в образе молодой девушки. В эту минуту в дверь постучали, девушка сама вошла в комнату. Она мило раскланялась и спросила, не мой ли экипаж стоит во дворе, не еду ли я обратно в Копенгаген и не захвачу ли в таком случае ее с собой.

Скромное и в то же время полное женского достоинства обращение ее сразу заставило меня выбросить из головы всякие расчеты на интересное или пикантное приключение. Между тем продолжительная поездка в собственном экипаже вдвоем с девушкой могла бы показаться куда интереснее встречи с ней в саду. Тем не менее, я глубоко убежден, что и более легкомысленный человек, чем я, не поддался бы в подобном случае искушению. Доверие, с каким девушка отнеслась ко мне, оказалось для нее лучшею защитой, чем всякие девичьи уловки.

Мы отправились вместе, и спокойнее ей бы не доехать было и с братом или с отцом. Я был сдержан и молчалив, лишь когда мне казалось, что она собирается сказать что-нибудь, я весь превращался во внимание. Кучеру был отдан приказ ехать побыстрее, остановки на станциях длились не более пяти минут, я каждый раз выходил из экипажа и, стоя со шляпой в руке, спрашивал мою спутницу, не угодно ли ей чего-нибудь, а мой слуга, также с почтительно обнаженной головой, ждал приказаний. Когда мы подъезжали к городу, я велел кучеру свернуть на одну из боковых дорог, вышел там и прошел с полмили пешком до города, чтобы не поставить барышню в неловкое положение в случае встречи с какими-нибудь знакомыми и т.п. Кто была эта девушка, где жила, чем была вызвана ее экстренная поездка, я не осведомился ни тогда, ни впоследствии, девушка навсегда осталась для меня лишь приятным воспоминанием, которое я не позволил себе оскорбить пустым любопытством.

Молодая девушка в поисках интересного становится сетью, в которой сама же запутывается. Девушка, не ищущая интересного, верит в повторение. Честь и слава той, которая сразу была такова, честь и слава

той, которая сумела стать таковой с течением времени!..

Но я должен постоянно повторять, что говорю все это по поводу повторения. Повторение — новая категория, которую еще предстоит ввести. Имея некоторое знакомство с новейшей философией и будучи не совсем невеждой в древней, не трудно увидеть, что именно эта категория и проясняет соотношение между учениями элеатов и Гераклита и что повторение собственно есть то, что ошибочно назвали опосредствованием. Просто невероятно, сколько шуму было поднято гегелевской философией по поводу опосредствования и сколько вздору прошло под этим почетным знаком. Лучше было бы попытаться продумать опосредствование да воздать должное грекам. Их учение о бытии и ничто, о мгновении, о небытии и т.п. даст сто очков вперед философии Гегеля. "Опосредствование" — иностранное слово для датчан, "повторение" — слово родное, и можно только порадоваться, что и в нашем языке есть удачный философский термин. В новейшей философии не найти объяснений тому, как происходит опосредствование — в результате ли движения двух моментов, или как-то иначе, вследствие иного их состояния, или, быть может, оно — нечто новое, порождаемое этими моментами, тогда — каким образом. Здесь необходимо обратить пристальное внимание на то, как у греков продумывалось понятие *κίνησις*, соответствующее новейшей категории перехода. Диалектика "повторения" несложна, ведь то, что повторяется, имело место, иначе нельзя было бы и повторить, но именно то обстоятельство, что это уже было, придает повторению новизну. Греки, говоря, что всякое познание есть припоминание, подразумевали под этим, что все существующее ныне существовало и прежде; утверждая же, что жизнь — повторение, я говорю тем

самым: то, что существовало прежде, настает вновь. Без категорий воспоминания или повторения вся жизнь распадается, превращается в пустую, бессодержательную игрушку.

Воспоминание соответствует языческому мировоззрению, повторение современному; повторение — *интерес* метафизики и вместе с тем интерес, на котором стоит метафизика; повторение — это выход, присутствующий во всяком этическом воззрении, повторение *conditio sine qua non* любой догматической проблемы.

Вздумай кто критиковать все сказанное мною о повторении — пожалуйста; отметьте также место и способ изложения, ведь я, по примеру Гамана, выражаю себя по-разному: софизмы и каламбуры, речь критян и арабов, белых, негров и креолов, язык критики и мифологии, *rebus* и Grundsätze — все отзывается друг в друге, аргументируя то *κατ' ἄνθρωπον*, то *κατ' ἐξοχήν*. Полагая, что все это не полный вздор, я рискну послать мои обрывки мыслей спекулятивному оценщику — может, есть в этом толк, а то и вклад в Систему — может быть!.. Тогда и жизнь прожита не зря.

Что же касается значения повторения, то об этом можно сказать многое не повторяясь. Когда в свое время профессор Уссинг держал речь перед членами общества 28 Мая и какое-то его высказывание вызвало ропот собравшихся, он, будучи человеком решительным и *gewaltig*, хлопнул ладонью по столу и сказал: "Я повторю". Подразумевалось, что от повторения его слова обретут убедительность. Несколько лет назад мне довелось слышать, как пастор по случаю двух разных праздников прочел совершенно одинаковую проповедь. Если бы он думал так же, как профессор, то, взойдя спустя неделю после первой службы на кафедру и пристукнув по ней, сказал бы: "Повторяю

то, что говорил в прошлое воскресение". Но он этого не произнес, даже не намекнул — он и профессор думали по-разному. Неизвестно, правда, по-прежнему ли и сам господин Уссинг считает, что его речь выиграла от повторения. На приеме во дворце Ее величество рассказала забавную историю и все придворные рассмеялись, включая глухого министра, который затем встал, испросил разрешения поведать свою историю и... рассказал ту же самую. Вопрос в том, что думал он о значении повторения. Когда учитель в классе говорит: "Еще раз повторяю: Есперсен, уймись!" — и тот же Есперсен получает двойку за повторную выходку, в этом случае значение повторения прямо противоположное.

Но я не буду распространяться об этом, а перейду к той поездке открытий, которую я предпринял ради проверки возможности и значения повторения.

Не сказав никому ни слова, во избежание разговоров, которые могли бы помешать эксперименту или отбить у меня охоту к повторению, я отправился на пароходе в Штральзунд, где сел на скорый почтовый дилижанс, доставивший меня в Берлин. Ученая публика расходится во мнениях о том, какое место в дилижансе самое удобное. На мой *Ansicht*, ужасны все. В прошлый раз я сел в самый передний ряд (занять такое место считается большой удачей) и в течение полуторадневной тряски настолько слился с ближайшими соседями, сидящими чересчур тесно, что по прибытии в Гамбург почти лишился не только собственного рассудка, но и собственных конечностей. Шесть пассажиров за тридцать шесть часов так плотно сбились в одно тело, что я понял, почему жители Мольса, долгое время сидевшие рядом, не смогли определить, где чьи ноги. Чтобы сплотиться с телом по крайней мере меньшего размера, я выбрал место в

середине дилижанса. Несмотря на перемену, все повторилось. Затрубил почтовый рожок, я в отчаянии закрыл глаза и мысленно сказал себе то, что обычно говорил в таких случаях: Бог знает, выдержишь ли ты, доедешь ли до Берлина, высвободишься ли, станешь когда-нибудь вновь отдельным человеком — или смиришься с мыслью, что ты орган другого, большего тела.

И вот я в Берлине. Тотчас поспешил к своему прежнему хозяину, чтобы убедиться, насколько возможно повторение и тут. Смею заверить участливых читателей, что в предыдущий свой наезд мне удалось обеспечить себе одно из уютнейших помещений в городе. Я могу утверждать это тем положительнее, что пересмотрел их много. Площадь жандармов, без сомнения, самая красивая в Берлине; театр и две церкви создают прекрасный вид, особенно из окна при свете луны. Воспоминание об этом охватило меня, я ускорил шаг. Так. В доме, освещенном газовыми фонарями, подняться на второй этаж, открыть маленькую дверь, войти в прихожую. Слева стеклянная дверь в кабинет. Пройти через него и оказаться в передней, ведущей в две комнаты, похожие одна на другую, совершенно одинаково обставленные и поэтому как бы отражающиеся друг в друге. Дальняя комната искусно освещена. На письменном столе — канделябр, рядом изящное кресло, обитое красным бархатом. В ближайшей комнате не горят свечи, тусклый свет луны сливается с ярким широким лучом из соседней комнаты. Садишься у окна, вглядываешься в большую площадь, в призрачные тени прохожих. Все преобразуется в театральные декорации. Действительность, засыпая, угасает где-то на задворках души. Хочется набросить плащ и медленно красться вдоль стен, обостряя зрение и слух, и без того чуткий к каж-

дому шороху. Но не делаешь этого, а просто сидишь и смотришь на скользящего мимо домов... себя самого, но молодого. Докуриваешь свою сигару, идешь в дальнюю комнату и начинаешь работать. Полночь миновала. Гасишь свечи, зажигаешь маленький ночник. Лунный свет, теперь незамутненный, торжествует. Четкие тени кажутся еще темнее, одинокие шаги еще долго звучат в тишине. Арка безоблачного неба печáльна и задумчива, как будто бы уже прошел конец света и ничем не тревожимые небеса заняты только собою. Возвращаешься в переднюю, проходишь маленький кабинет и идешь спать, — если принадлежишь к тем счастливым людям, которые могут заснуть. Увы! Здесь повторение оказалось невозможным: мой материалист хозяин "*er hatte sich verandret*", "переменился" в том особом значении, которое у немцев и, насколько мне известно, у нас, в определенном обществе, связывается со словом "жениться". Мне хотелось пожелать ему счастья, но так как я не настолько силен в немецком, чтобы не увязнуть в приличествующих такому случаю оборотах речи, я поздравил его, прижав руку к сердцу и глядя на него с нежнейшим участием. Он пожал мне руку. После того, как мы таким образом поняли друг друга, он стал мне доказывать эстетические преимущества брака, причем так же убедительно, как и в прошлый раз демонстрировал достоинства холостяцкой жизни. Когда мне приходится говорить по-немецки, я самый покладистый человек в мире.

Мой прежний хозяин, однако, выказал полную готовность услужить, а мне хотелось поселиться именно у него, и я снял в его доме одну комнату с передней.

Вернувшись к себе в первый же вечер, я зажег огонь и вздохнул: "Ах! Вот тебе и повторение!" Я был совсем расстроен или, если хотите, настроен как раз

так, как того требовали данные обстоятельства. Судьбе угодно было привести меня в Берлин в день поминовения усопших, и город производил гнетущее впечатление. Правда, люди не посыпали друг друга пеплом со словами: *memento o homo! quod cinis es et in cinerem reverteris*, тем не менее пыль в городе стояла столбом. Сначала я подумал было, что сие делается по распоряжению правительства, но потом убедился, что это прихоть или дурная привычка ветра, который, не считаясь ни с кем и ни с чем, брал на себя труд чуть ли не каждый день придавать Берлину покаянный вид. Впрочем, это собственно не относится к делу; мое открытие не имело никакого отношения к "повторению", так как в предыдущей раз я не замечал подобного явления, — вероятно, потому, что тогда была зима.

Устроившись удобно и уютно на собственной квартире, иначе говоря, обретя твердую позицию, откуда можно делать набеги, обеспечив себе укромный уголок, где можно одному без помехи переварить свою добычу (я особенно дорожу этой возможностью, так как, подобно некоторым хищным зверям, не могу есть, если на меня смотрят), начинаешь обыкновенно знакомиться с достопримечательностями города. Если принадлежишь к профессиональным путешественникам, которые разъезжают по свету для того, чтобы обнюхать все, что обнюхивали другие, или занести в дневник название всех достопримечательностей, а свое имя в общую книгу обозревателей, то берешь гида и приобретаешь *Das ganze Berlin* за четыре гроша. Таким способом становишься беспристрастным наблюдателем, которому обязаны верить на слово при составлении любого полицейского протокола. Если же путешествуешь без особой надобности и не выполняя никакой миссии, то идешь наобум, махнув рукой на

всякие методы; порой увидишь что-нибудь такое, чего другие не видят, порою пропустишь важнейшее, наберешься случайных впечатлений, имеющих значение лишь для самого себя. Такому беззаботному скитальцу обыкновенно и нечего бывает сообщить другим, а если он все же дерзнет, то легко рискует ослабить то хорошее мнение, которое добрые люди составили себе о его порядочности и нравственности. Представим себе человека, который долго путешествовал за границей и ни разу не проехался *auf der Eisenbahn* — ему ведь нет места ни в одном порядочном обществе. А человеку, побывавшему в Лондоне и не прокатившемуся по туннелю? А человеку, прибывшему в Рим и влюбившемуся в какую-нибудь частичку Вечного города настолько, что она для него стала неистощимым источником наслаждения, почему он и уезжает из Рима, не видев ни единой его достопримечательности?..

В Берлине три театра. Говорят, что опера и балет в Опере *großartig*, говорят, что представления в *Schauspielhaus* даются "не для одной забавы", но служат и делу просвещения, не знаю. Зато я знаю, что в Берлине есть театрик "Königstädter", Королевский Городской театр, который профессиональные путешественники посещают редко, хотя и немного чаще, чем увеселительные заведения на окраине города, где у датчанина появляется возможность припомнить Ларса Матесена и Келеда. Я же, еще в Штральзунде прочитав в газете о том, что в этом театрике дают "Талисман", сразу пришел в хорошее настроение. В моей душе воскресло воспоминание о первом впечатлении от этой пьесы, в первую мою поездку в Берлин, когда это впечатление пробудило во мне воспоминание, относившееся к давно минувшему.

Навряд ли найдется молодой человек со сколько-нибудь развитой фантазией, который никогда не

поддавался чарам театра и не испытывал желания раствориться в этой искусственной, вымышленной действительности, желания видеть и слышать самого себя, раздвоиться, раздробиться на бесконечное разнообразие лиц, в каждом обличье все же оставаясь самим собой. Конечно, такое увлечение театром свойственно очень юному возрасту, когда проснулась лишь фантазия и только мечтает о личности, а все остальное до поры спит спокойно. У юноши, который видит себя только в воображении, еще не сложился действительный облик, он пока тень, вернее, его подлинное лицо не успело выявиться, и потому он не довольствуется одной единственной тенью, но отбрасывает множество разнообразных теней, которые все похожи на него и моментами вполне правдоподобно его представляют. Его личность еще не открыта, ее энергия дает себя знать лишь страстным стремлением к осуществлению различных возможностей; ведь духовная жизнь человека подобна росту многих растений — сердцевина раскрывается последней. Но и такое призрачное существование имеет свои права, и никому не будет пользы, если подобному существованию не дать времени изжить себя; хотя, с другой стороны, печально или комично, если человек ошибся и искоренил в нем самого себя. Его претензии быть настоящим человеком оказались бы столь же сомнительны, сколь и требования бессмертия со стороны тех, кто сам не в состоянии будет предстать в День Судный, но пошлет за себя депутацию из благих намерений, шатких решений, принятых лишь на сутки, получасовых планов и т.п. Все, что случается, происходит своевременно. Пройденное в юности еще раз свершится в свой час. И для старика полезно иметь в прошлом нечто такое, что способно при воспоминании вызвать у него улыбку или исторгнуть слезы.

Живя в горах и слушая изо дня в день немолчную, неизменную песню ветра, пожалуй, захочется на мгновение отвлечься от несовершенства действительности и порадоваться столь яркой аллегории последовательности и уверенности человеческой свободы. И, возможно, в голову не придет, что было время, когда ветер, много лет обитающий среди этих гор, когда-то явился сюда чужаком, дико и бессмысленно заметался по ущельям и пещерам, испуская то вой, от которого как будто сам же шарахался, то жалобный стон, словно неведомо откуда вырвавшийся, то вздох, словно доносившейся из бездны страха, вздох столь глубокий и тяжкий, что ветер сам ужасался и с минуту сомневался, оставаться ли ему в этой местности, то наконец пуская шаловливую трель, — пока не изучил своего инструмента и не обработал все эти звуки в ту мелодию, которую теперь неустанно и повторяет изо дня в день. Так же и становящаяся личность блуждает среди собственных возможностей, открывая то одну, то другую. Но все они хотят быть не только услышаны, они не только проносятся вихрем, но одновременно и создают облик человека, и потому им также нужно быть видимыми. Каждая возможность поэтому — послушная тень. Сокрытая индивидуальность так же мало верит в сильные и громкие чувства, как и в лукавый шепот злобы; в ликующую радость — как и в бесконечные вздохи скорби; у нее одна страсть — созерцать и слушать... себя самое. Но только бы ей не услышать свой настоящий голос. Это табу. В ту же минуту запоет петух, и призрачные тени улетят, ночные голоса умолкнут, если же не умолкнут, мы очутимся уже в другой области, где все происходит под жутким надзором ответственности — в области демонического. Страшась впечатления от своего подлинного "я", сокрытая индивидуальность требует среды лег-

кой и преходящей, как сами образы или отражения ее, как кипящая пена слов, не требующих отклика. Такую среду и предлагает сцена, которая как нельзя более подходит для того, чтобы сокрытая индивидуальность могла играть в театре теней среди теней, в которых она угадывает самое себя, в чьих голосах ей чудится собственный голос, окажется, пожалуй, и атаман разбойников. Возможно, человеку непременно захочется узнать самого себя как раз в этом призрачном отражении, в мужественном облике разбойника, в его молниеносном, пронизывающем взгляде, в письменах страсти, морщинами прорезывающих лоб, — во всем, во всем!.. Да, это как раз по нему — устраивать засады в горах, подкарауливать путников, свистом созывать шайку, покрывать своим рыком поднявшийся шум, быть жестоким, беспощадно-равнодушно приказывать рубить всем головы, проявлять рыцарское великодушие к перепуганной молодой девушке, и т.д., и т.д...

Но ведь разбойнику место в темном лесу. А посадите-ка нашего фантазера-героя в лес, снабдив всеми атрибутами его звания, и предложите ему отдаться разгулу страстей, дав вам предварительно удалиться от него на несколько миль, — я думаю, у него язык отнимется!

Вообще с ним, пожалуй, произошло бы то же, что и с одним господином, который несколько лет тому назад удостоил сделать меня своим литературным поверенным. Он явился ко мне с жалобами на чрезмерный наплыв мыслей, который перо его положительно не поспевало заносить на бумагу, — так не возьмусь ли я быть его секретарем, писать под диктовку? Я сразу почуял неладное и заверил, что по части скорописи могу поспорить с бешеной лошадью; пишу-де одни начальные буквы слов, но ручаюсь, что

сумею потом прочесть все написанное. Моя услужливость не знала границ. Я тотчас велел поставить огромный стол, перенумеровать целую кипу бумаги, чтобы не тратить времени на переворачивание листов, приготовил дюжину вставочек со стальными перьями, обмакнул перо... И господин начал: "Да, видите ли, почтеннейший, я собственно имел в виду..." Едва он произнес это, я прочел ему его речь по моей записи, и с тех пор он уже никогда не просил меня секретарствовать.

Тот воображаемый разбойник тоже наверное нашел бы предложенный масштаб слишком крупным. Хотя, с другой стороны, и слишком мелким. Нет, вы бы должны намалевать ему кулису с деревом, да осветить ее попричудливее, — такой лес был бы для него шире настоящего, просторней девственных лесов Северной Америки, — но в то же время он смог бы пронизать этот лес своим голосом, не охрипнув от усилий. Таково софистическое стремление фантазии: подайте ей весь мир в ореховой скорлупе, которая была бы одновременно и больше всего мира, и настолько компактна, чтобы ее могла наполнить собою сама личность. Такое стремление к театральным выступлениям и излияниям отнюдь еще не означает призвания к сценической деятельности. Там, где призвание есть, талант сразу проявляется в виде особого расположения к чему-то определенному, и даже разнообразнейший талант при пробуждении не размахивается широко. Вышеобрисованное стремление означает лишь незрелость фантазии; другое дело, когда оно имеет подоплекой любовь к славе, склонность позировать, блистать. Тогда краеугольный камень всего тщеславие, которое, к несчастью, является весьма глубоким основанием.

Так вот, хотя момент увлечения сценой в юной жизни и проходит, он настает вновь в более зрелом возрасте, когда личность, так сказать, сформировалась серьезно. И в то время как сценическое искусство уже перестает быть достаточно солидным занятием, человек может захотеть при случае вернуться к первоначальному своему состоянию и пережить свойственные этому состоянию настроения. Но на сей раз его тянет поддаться комическому и реагировать на юмор в качестве театрального зрителя; его не влекут высокие виды сценического творчества, комедия или трагедия, — тогда он обращается к фарсу. То же самое явление повторяется в других областях искусства. Случается, что зрелая индивидуальность, насытившаяся плотной пищей действительности, остается равнодушной к художественно исполненной картине. Зато тот же человек способен, например, прийти в умиление от нюрнбергских гравюр — поделок, что продаются на базарах. Они изображают гористый пейзаж вообще. Но подобная абстракция не поддается художественному исполнению. Поэтому ее целое достигается противоположным способом, с помощью случайной конкретности. Да я спрошу любого, не производит ли такая безделушка особого впечатления именно своей примитивностью, тем, что изображает не какую-нибудь известную местность, а просто "сельский вид вообще"; и не знакомо ли ему это впечатление с детства, когда все обобщается в столь чудовищные категории, что в зрелости от них голова готова закружиться, — вспомним, как из клочка бумаги вырезают мужа и жену, в гораздо более строгом смысле слова изображающих "мужа и жену вообще", нежели изображали их Адам и Ева. Пейзажист, стремящийся дать или точную копию или идеализированное изображение природы, может и не захватить

зрителя, а такое вот нюрнбергское изделие способно произвести неописуемое впечатление, когда человек не знает — плакать ему или смеяться; впечатление ведь вообще всецело зависит от настроения. И едва ли найдется человек, в жизни которого не бывало бы таких моментов, когда всего богатства языка, всей страсти восклицаний, всех обычных выражений и жестов оказывалось недостаточно и оставалось только прибегнуть к необычайным прыжкам и кульбитам, чтобы дать выход избытку чувств. Может быть, тот же человек впоследствии научился танцевать, часто бывал в балете и восхищался искусством танцовщиков, а потом, может быть, пришло и такое время, когда он перестал увлекаться балетом, — и все-таки выдавались минуты, когда он, удалившись к себе в комнату, всецело предоставленный себе самому, мог испытывать невыразимое юмористическое удовлетворение, постояв на одной ноге в выразительной позе, или, выкинув антраша, дать пинка всему миру и послать его к черту.

В Городском театре даются фарсы, собирающие, как и следовало ожидать, самую разношерстную публику. Так что всякому, желающему изучить смех в различных его проявлениях и оттенках, смех людей различных сословий и темпераментов, не следовало бы пренебрегать возможностью побывать в этом театре фарса. Взрывы смеха и восторженные крики "браво", сотрясающие галерку, — нечто совершенно иное, чем аплодисменты образованных и критически настроенных бельэтажа с партером; это непрерывный аккомпанемент, без которого немыслимо исполнение фарса. Его действие вообще обретается в более низких слоях общества, поэтому публика галерки сразу себя узнает, и шумные изъявления ее восторга отнюдь не обозначают эстетическую оценку игры отдельных

артистов; это попросту лирические излияния блаженного состояния зрителей, принадлежащих к той категории, которая не сознает себя публикой, но готова сама смешаться с лицедеями, очутиться там, внизу, на улице, или где там еще происходит действие! Раз, однако, такое участие невозможно, эти зрители ведут себя, как дети, которым позволили смотреть на уличную сумятицу только из окошка. Партер и бельэтаж также заливаются смехом, но их смех существенно отличается от кимвро-тевтонских народных восторгов. Впрочем, и в этой сфере смех представлен бесконечным разнообразием оттенков, но совсем другого рода, нежели при исполнении превосходной комедии. Можно рассматривать это как явление положительное или отрицательное, но факт остается фактом. Всякая попытка более общего эстетического определения терпит крушение на фарсе и не в состоянии объединить настроения более образованной публики; раз воздействие фарса в значительной степени зависит от самодеятельности и творчества самих зрителей, то каждой индивидуальности предоставлен в этом отношении полный простор, — причем она в своем наслаждении освобождается от всяких эстетических обязательств традиционного восхищения, волнения, смеха и т.п. Взять билет на фарс для образованного человека почти то же, что купить лотерейный билет, — с тою лишь разницей, что он не подвергается при этом неприятному риску выиграть деньги.

Обычной театральной публике нет расчета рисковать своим досугом, а потому она обыкновенно пренебрегает фарсом, относясь к нему свысока, — отчего сама остается в проигрыше. Ей свойственна некоторая мещанская серьезность, она желает ходить в театр с целью чему-нибудь научиться, облагородиться. Ей хочется (или по крайней мере она воображает, что ей

хочется) вынести из театрального представления редкостное художественное наслаждение, — и вот она рассчитывает заранее, по афише гарантировать себе это наслаждение на данный вечер.

Фарс никаких таких гарантий не дает. Один и тот же, он может произвести самое различное впечатление как раз в такой вечер, когда его исполнение было особенно хорошо. И уж весело ли вам было или нет, никак нельзя определить ни по отзывам друзей и знакомых, ни по газетным рецензиям. Это приходится каждому решать за себя. Так что едва ли какому-нибудь рецензенту удавалось установить какие-либо правила или порядки для образованной публики, смотрящей фарс; тут невозможны требования *bon ton*. Сие, обычно успокаивающее, взаимоуважение между сценой и публикой тут упраздняется; фарс может вызвать в человеке самые неожиданные настроения, так что, выходя из театра, решительно нельзя знать наверняка, вел ли ты себя как подобало, плакал ли и смеялся там где подобало.

В фарсе добросовестному зрителю не приходится удивляться тонкой обрисовке характеров, как в драме: действующие лица очерчены в абстрактном масштабе — "вообще". Этот же масштаб приложим к обрисовке положений, развитию действия, к репликам, ко всему. Поэтому ничто не мешает зрителю впасть в самое грустное настроение или развеселиться, хохоча до упаду. Воздействие фарса никогда не опирается на иронию, в нем все наивно, поэтому от зрителя требуется полная самодеятельность; вдобавок наивность фарса настолько фиктивна, что относиться к ней наивно для человека образованного просто невозможно. Но в таком чисто личном отношении к фарсу и кроется в значительной степени самая забава. Забавляться приходиться каждому уже на свой страх и риск, и

напрасно озираться по сторонам или искать в газетах подтверждение того, что тебе было действительно весело. Зато для человека образованного и вместе с тем достаточно независимого, чтобы рискнуть позабавиться, ни на кого не оглядываясь, да еще и достаточно уверенного в себе, чтобы, не спрашивая ничьего мнения, решить, весело ему или нет, — для такого человека фарс может, пожалуй, иметь совершенно особое значение в качестве возбудителя самых различных настроений, — отчасти в силу всеобъемлющей абстракции, отчасти убедительного воспроизведения действительности. Такой человек, конечно, не пойдет на фарс, заранее настроившись на известный лад, чтобы затем предоставить фарсу действовать на него согласно этому настроению. Наоборот, он, искушенный в разнообразии настроений, явится безо всякого определенного настроения, будучи готовым отдаться любому.

В Городском театре даются одни фарсы, и по моему, превосходные. Мнение сие, разумеется, чисто индивидуальное, я его никому не навязываю, но зато прошу и мне ничего не навязывать. Для того, чтобы хорошо сыграть фарс, нужен совсем особый состав труппы. Нужны два, самое большее три настоящих таланта, вернее, гения жанра. Они должны быть настоящими детьми веселья, опьяненными смехом, жрецами юмора. В другое время, даже за минуту до выхода на сцену, такие артисты ничем не отличаются от прочих людей. Но как только раздастся звонок режиссера, они сразу преображаются: как горячий арабский конь бьет копытом, фыркает и ржет, раздувая ноздри перед забегом, так и они волнуются перед выходом на сцену и горят нетерпением кинуться, очертя голову, в вихрь смеха. Это не сознательные, глубокомысленные артисты, изучавшие науку смеха, а

поэты-лирики, которые сами бросаются в бездну смеха и предоставляют его вулканической силе выбрасывать их на сцену. Поэтому они не продумывают заранее, как вести роль, но отдаются настроению минуты, предоставляя остальное стихийной силе смеха. У них хватает смелости делать то, на что обычный человек решается только наедине с самим собою, на что отваживаются при всех лишь безумцы и на что способен гений, которому сознание своих сил придает уверенности в успехе. Они знают, что шаловливым их проделкам нет границ, запас комизма в них неистощим (и это беспрестанно поражает их самих); они знают, что в состоянии целый вечер поддерживать веселье, и это стоит им не больших усилий, чем мне набрасывать эти строки.

Если в фарсовой труппе найдется хоть два таких гения, довольно. Более трех даже нежелательно, — в противном случае впечатление ослабляется, подобно тому, как человек иногда умирает от гиперстении. Остальная труппа не нуждается в талантах, ей даже невыгодно, если они есть.

Не следует руководиться при подборе фарсовой труппы и эстетическими категориями, лучше всего, если состав будет случайным, разнородным, как общество на рисунке Ходовецкого, изображающем основателей Рима. Не надо даже пренебрегать кем-нибудь из-за физического недостатка; напротив, такая случайность будет в гармонии с остальным. В фарсе могут отлично пригодиться и кривоногий, и косолапый, и верзила, и карлик — и даже оказаться незаменимыми. Наряду с идеальным типом сгодится все равно что — пусть решает случай. Какой-то остряк сказал, что все человечество можно подразделить на офицеров, служанок и трубочистов. Такое высказывание, на мой взгляд, не только остроумно, но и глубокомыслен-

но; трудно придумать лучшее подразделение. Если классификация не идеальна, не вполне исчерпывающа, то во всех отношениях предпочтительнее разграничение случайное, — оно по крайней мере дает пищу фантазии. Приблизительно верное подразделение не может удовлетворить разума, ничего не говорит воображению, а потому никуда не годится в сущности, хотя и пользуется большим почетом в будничном обиходе — на том основании, что люди отчасти глупы, отчасти лишены воображения. Если нужно на сцене изобразить человека вообще, то следует требовать или абсолютно идеального в своей конкретности образа, или случайного. Театры, предназначенные "не для одной забавы", обязаны были давать первое, меж тем как от хорошего артиста там ждут лишь красивой сценической внешности и хорошего голоса. Меня же это не удовлетворяет, игра артиста *eo ipso* провоцирует критику, и тут уже очень нелегко решить, что же в конце концов нужно для того, чтобы и на сцене был изображен тот самый человек, что нужно, чтобы удовлетворить наши требования. С этим, вероятно, согласится всякий, — стоит только припомнить, что даже Сократ, как ни был силен в знании людей и в самопознании, все-таки не знал наверняка — человек он или же еще более изменчивое животное, нежели тифон. В фарсе, напротив, второстепенный персонаж как раз берет абстрактной категорией "вообще", в чем помогает ему его случайный состав. Дальше приблизительного воспроизведения действительности это не заводит. Да большего и не нужно; зритель готов юмористически мириться с тем, что такая "случайная" совокупность претендует сойти за идеальную, ведь эта претензия неизбежна в мире искусства сцены. Если вообще допустить из вышеуказанного правила исключение для кого-нибудь из второстепенных персонажей

труппы, то разве только для роли любовницы. Разумеется, ей ни в коем случае не следует быть настоящею артисткою, но при выборе ее не мешает иметь в виду миловидность, чтобы всякое ее появление на сцене производило приятное впечатление.

Подбор труппы Городского театра в общем удовлетворяет меня и, если я имею кое-какие возражения, то лишь касательно второстепенных персонажей. Против главных — *Бекмана* и *Гробекера* — мне сказать нечего. Бекман настоящий комический гений, который чисто лирически закусывает удила в комизме, выдается не созданием типов, но вдохновением настроения. Его талант не гармоничен, а, напротив, вызывает восхищение своей индивидуальной несоразмерностью. Он не нуждается ни в какой поддержке ансамбля, текста и декораций, так как всегда бывает в ударе и создает все сам. Неистощимый в своем веселье, он сам рисует всю сценическую обстановку не хуже любого театрального декоратора. Сказанное Баггесеном о Саре Никельс, что "она вбегает на сцену опрометью, внося с собой атмосферу деревни", можно вполне отнести и к Бекману — с той лишь разницей, что он не вбегает, а просто входит. В настоящем художественном театре редко видишь актера, действительно умеющего ходить и стоять. Я, впрочем, видел одного такого. Однако ничего подобного тому, что проделывает Бекман, я еще не видывал нигде. Он не только умеет ходить, но умеет и *входить*. Это нечто совсем особенное, и он с присущей ему гениальностью одновременно экспромтом создает всю сценическую обстановку. Он может не только изображать странствующего подмастерья, но может и войти, как мастеровой, да так, что заставит вас пережить вместе с ним все, все увидеть перед собою воочию: и пыльную дорогу, и улыбающуюся вдали деревню, откуда доносится сла-

бый шум, и тропинку, огибающую пруд у кузницы, и наконец... самого мастерового с котомкой за плечами, с палкой в руке, беспечного и неугомонного. Он может войти так, что увидишь даже гнавшихся за ним уличных мальчишек, хотя они и не появляются на сцене. Сам Рюге в "Царе Соломоне и шляпнике Йоргене" не производит столь сильного эффекта. Да, Бекман создает большую экономию театру, — имея его в труппе, не нужно ни статистов, ни декораций. И все же этот подмастерье не типичен, он слишком бегло, воздушно очерчен, хотя и поистине мастерскими штрихами, он инкогнито, в котором живет демон комизма, всегда готовый прийти в исступление и увлечь за собою всех в вихре бесшабашного веселья. В этом смысле пляска Бекмана бесподобна. Вот он пропел свои куплеты, сейчас пустится в пляс. Тут уж он действует на свой страх и риск, вероятно, потому, что совсем не собирается никого потрясать своим танцевальным мастерством. В эти моменты он уже сам не свой. Безумие смеха достигает в нем таких размеров, что не может вместиться ни в образ, ни в реплику; остается, подобно Мюнхгаузену, взять самого себя за шиворот и закружить в безумном вихре забавных прыжков — только это и будет отвечать настроению. Каждый человек, как говорилось выше, сам по себе отлично знает, какое облегчение могут доставить подобные выходки, но проделать это на сцене способен лишь настоящий гений, для этого нужна властная уверенность гения, в противном случае можно вызвать одно отвращение.

Каждому фарсовому комику необходимо иметь голос, по которому сразу можно узнать его еще за кулисами и с помощью которого он подготовляет свой выход. У Бекмана превосходный голос, что разумеется, отнюдь не тождественно с голосом красивым. У

Гробекера голос скорее трескучий, но одно его слово за сценой производит то же действие, что и звуки трубы, открывающей народные гулянья в Парке-заповеднике, сразу настраиваешься на веселый и смешливый лад. В этом отношении я даже отдаю предпочтение Гробекеру перед Бекманом. Основное свойство Бекмана — какая-то невероятно уморительная рассудительность, с помощью которой он достигает исступленного комизма. Напротив, Гробекер в некоторых случаях достигает этого с помощью сентиментальности и жеманства. Помню, как он играл в одном фарсе управляющего, преданного слугу благородных господ, который знает, как разные торжественные мероприятия услаждают хозяев, и одержим идеей устроить деревенское празднество в честь их высочайшего прибытия. Наконец все готово. Гробекер-управляющий решает изобразить Меркурия. Он не сменил костюма, только прицепил к ногам крылышки, надел на голову шлем, принял живописную позу, замерев на одной ноге, и зачитал перед господами приветственную речь. В лирическом даровании Гробекер уступает Бекману, но все-таки его талант актера-комика — лирический. В нем очевидна наклонность к академизму, желание мастерски продумать и выстроить свою игру, особенно в сухой комедии. Но что касается фарса, то последний доводится до кипения скорее стараниями Бекмана. И все же Гробекер гениален, и в фарсе тоже.

Вы входите в Городской театр и берете себе кресло в ложе бельэтажа, где бывает сравнительно больше свободных мест. Смотреть фарс следует с комфортом и не ставя себя в зависимость от того взвинченного интереса к искусству или к пьесе, во имя которого люди набивают театр битком и готовы претерпевать всякие неудобства, словно дело идет о спасении души.

Воздух здесь также более или менее чистый, не зараженный публикой, вгоняемой в пот чрезмерною любовью к искусству. В бельэтаже можно рассчитывать почти наверняка сибаритствовать в ложе в одиночку. Если же там нет мест, то я советую читателю — для того, чтобы ему по крайней мере извлечь пользу из этих строк — занять 5-ю или 6-ю ложу с левой стороны. Там у самой стены в углу есть место, очень удобное и рассчитанное на одного. Итак, вы сидите в одиночестве в глубине ложи, перед вами пустое пространство, оркестр играет увертюру, и музыка так гулко раздается в этом пустом пространстве, что вам даже становится как-то жутко. Вы пришли в театр не путешественником, не знатоком искусства или критиком, а, если это возможно, ровно никем, и довольны, что сидите хорошо и удобно, почти так же хорошо, как у себя дома. Оркестр кончил, занавес тихо приподнимается, и тут начинается другая музыка, управляемая не палочкой капельмейстера, но повинующаяся внутренним импульсам. Слышится гул толпы, наполняющей галерку и уже почуявшей за кулисами Бекмана. Я обычно сидел в глубине ложи и потому совсем не мог видеть балкона и галереи, выступавших над моей головой, как козырек фуражки. Тем фантастичнее действует этот гул. Видимое мною пространство в значительной степени пусто и дает мне иллюзию полого желудка морского чудовища, в котором сидел Иона; гул, доносящийся сверху, вызван как будто движениями *viscera* чудовища. С той минуты, как началась эта музыка галерки, всякий другой аккомпанемент становится излишним, Бекман воодушевляет галерку, а она Бекмана.

О, моя незабвенная пестунья, нимфа ручья, протекающего мимо усадьбы моего отца! Ты, всегда с такой готовностью принимавшая участия в моих детских

играх, хотя в сущности-то всегда была занята лишь своим делом, а не думала о ребенке! Моя верная утешительница, сохранявшая в беге времени свою невинность и чистоту, не старевшая, в то время как сам я состарился! Тихая фея, к которой я прибегал вновь и вновь, когда уставал от людей и от самого себя до такой степени, что мною овладевала тоска по вечности, по вечном отдыхе, по вечному забвению. Ты не отказывала мне в том, в чем хотели отказать мне люди, изображавшие вечность столь же полную суеты и потому еще более ужасную, чем временная жизнь. Я ложился у ручья и исчезал для самого себя в безграничном просторе неба, высившегося над моей головой, забывал себя самого, усыпленный твоим журчанием! Ты мое другое, более счастливое "я", ты неуловимая, быстротечная жизнь, олицетворявшаяся тем ручьем, на берегу которого я лежал, поверженный, словно ненужный дорожный посох, но спасенный и освобожденный твоим грустным журчанием!..

Так же вот почти полулежал я в глубине своей ложи, распростертый, подобно брошенной одежде купальщика, у потока смеха, шаловливого и бесшабашного веселья, неустанно с шумом несущегося мимо. Я ничего не видел, кроме театрального простора, ничего не слышал, кроме этого охватывающего меня гула. Лишь время от времени я приподнимался, смотрел на Бекмана и хохотал до упаду, так, что в изнеможении снова падал на берег шумящего потока. Уже одно это было блаженством, но мне все-таки недоставало чего-то, и я отыскивал в окружавшей меня пустоте образ, которому с первого же взгляда обрадовался, как не мог обрадоваться даже Робинзон, увидев в первый раз Пятницу. В ложе напротив сидела молодая девушка, полускрытая пожилою четою. Молодая девушка вряд ли пришла в театр "показать

себя", — в этом театре вообще всяк избавлен от этих противных дамских выставок. Она сидела в третьем ряду, одетая просто и скромно, почти по-домашнему. На ней не было наброшено собольей накидки, лишь простая шаль, из которой ее скромная головка выступала, как ландыш на фоне крупных листьев. Насмотревшись на Бекмана, я откидывался в изнеможении, предоставляя потоку смеха и веселья уносить меня по течению, когда же выныривал из этой купели, вновь приходил в себя, то искал глазами эту молодую девушку, — образ ее освежал, умиротворял мою душу своей миловидностью. Точно так же, в более чувствительных местах фарса, мне стоило взглянуть на девушку, чтобы самому отдаться чувству: она сидела, вся уйдя в созерцание, с тихой, детски восторженной улыбкой.

Девушка приходила в театр каждый вечер, как и я. Иногда я мысленно спрашивал себя, что влекло ее сюда, — но не задумывался над этим. Порою она представлялась мне такой настрадавшейся — потому и заворачивалась она в свою шаль, чтобы отгородиться от мира, не иметь с ним больше никакого дела. Как вдруг выражение ее лица убеждало меня, что она счастливое дитя, которое кутается, чтобы только чувствовать себя еще уютнее. Девушка и не подозревала, что на нее смотрят, еще меньше подозревала она, что я слежу за нею так упорно. Я был очень осторожен. Да и грешно было бы с моей стороны возмущать ее покой, и я сам же поплатился бы за это: есть такая невинность, такая чистота и непосредственность, которые может смутить даже доброжелательное внимание. Сколько ни ищи, не найдешь столь целомудренного существа, но если твой добрый гений укажет таковое, то не оскорбляй его нескромным интересом и не огорчай этим своего доброго гения. Да подозревай только

юная особа о той тишайшей радости полувлюбленного, которую она доставляла мне, все пропало бы, и ничем нельзя было бы заменить эту мою радость, даже ее любовью.

Я знаю место в нескольких милях от Копенгагена, где живет одна молодая девушка, знаю большой тенистый сад, со всеми его деревьями, знаю и поросший мелким кустарником обрыв, с которого можно, прячась за ветвями, незаметно заглянуть в этот сад. Я никому не говорил о нем, даже мой кучер его не знает. Собираясь туда, я сбиваю возницу с толку: не доезжая до места, выхожу из экипажа и сворачиваю вправо вместо того, чтобы взять налево.

Когда мне случается страдать бессонницей и один вид постели страшит меня больше, чем могло бы устрашить ложе пыток, больше, чем ужасает душевнобольного вид смирительной рубахи, я велю подать экипаж и еду всю ночь, а рано утром уже лежу в своем укромном уголке за кустами. И вот, когда жизнь начинает просыпаться, солнце открывает свое лицо, птица встряхивает крылышки, лисица выскальзывает из норы, крестьянин выходит взглянуть на свое поле, женщина спешит с подойником на лужок, косарь звенит косой о точило, увлекшись этой прелюдией, которая станет припевом дня и работы, — тогда появляется и она, моя молодая девушка. Ах, если бы уметь так спать!.. Спать легко и чутко, чтобы самый сон не стал тяжелее дневной тяготы. Если бы, вставая с постели, оставлять ее такой, будто там никто и не спал, если бы постель оставалась прохладной и несмятой, будто спавший только склонялся к ней, чтобы оправить. Ах, если бы умереть так, чтобы смертное ложе в последний миг твоего расставания с ним имело более привлекательный вид, чем детская кроватка, приго-

товленная для сладкого крепкого сна малютки, разглаженная заботливой рукой матери!..

Молодая девушка появлялась и с удивлением озиралась по сторонам (и кто кому удивлялся больше — девушка деревьям или деревья девушке?), присаживалась и срывала цветы, затем порхала по дорожке и снова задумчиво останавливалась. Какое умиротворяющее чувство разливалось в моей душе!.. Она наконец успокаивалась. Прекрасная девушка! Если ты когда-нибудь одаришь мужчину своей любовью, пусть это будет для него таким же счастьем, какое ты теперь даришь мне, ровно ничего не делая для этого.

Итак, в Городском театре опять давался "Талисман". Во мне воскресли воспоминания. Я как будто вновь увидел все въявь, все, что было тогда. И поспешил в театр. Но там не оказалось ни одной свободной ложи. Не было даже свободных кресел в моих любимых ложах с левой стороны, пришлось пойти на правую. Там я попал в компанию, не знавшую хорошенько, веселиться ей или грустить. Ничего не может быть скучнее такой компании. Как сказано, во всем зале не осталось ни одной пустой ложи. Не увидел я и молодой девушки, то есть она, вполне вероятно, и сидела где-то, да я не мог ее узнать, так как и она, пожалуй, была в компании. Бекман не сумел рассмешить меня. С полчаса я крепился, а затем ушел из театра, думая: "Повторения не бывает!"

Вывод этот сильно на меня подействовал. Я не так уже молод, не совсем неопытен и еще задолго до своего первого приезда в Берлин отвык строить воздушные замки. И все-таки мне казалось, что наслаждение, испытанное мною в том театре, должно было оказаться более прочным. Я рассуждал так: раз человеку приходится во многом умерять свои требования и так или иначе приспосабливаться к существованию,

прежде чем войти во вкус его, то авось и оно не станет обманывать. Или оно может оказаться не добросовестнее банкрота, который все же платит 50%, или 30%, или хоть сколько-нибудь?! И уж можно ли быть скромнее, если требуешь всего лишь впечатления от комического? Неужели и такие впечатления не повторяются?

Вот с какими мыслями я вернулся домой. Письменный стол мой стоял на месте, бархатное кресло тоже. Но, взглянув на кресло, я так рассердился, что готов был изломать его, тем более, что все в доме уже спали, и некому было унести кресло прочь. Ну, к чему бархатное кресло, раз вся остальная обстановка не гармонирует с ним? Такая же нелепость, как треуголка на голом человеке.

Я так и улегся в постель, не имея в голове ни единой путной мысли. В комнате было так светло, что я все время видел бархатное кресло и наяву, и в сонных грезах. Встав поутру, я поторопился привести в исполнение свое ночное решение — велел унести кресло в чулан.

Окружавшая обстановка потому и произвела на меня такое гнетущее впечатление, что явилась искаженным повторением прежней. Мышление мое оскудело, а растроенная фантазия угостила меня муками Тантала, воскрешая воспоминания о том наплыве мыслей, которое я испытал здесь в прошлый раз, и эти плевела памяти душили всякую новую мысль в самый момент ее зарождения.

Выйдя из дома утром, я отправился в кондитерскую, где бывал ежедневно в прошлый приезд. Я рассчитывал насладиться напитком, который при условиях, оговоренных поэтом, т.е. если он "крепок, горяч и чист" и если им не злоупотреблять, вправе стоять рядом с тем, с чем сравнивает его поэт, — с дружбой.

Я во всяком случае даже предпочитаю кофе дружбе. Может быть, кофе и был так же хорош, как и в первый мой приезд, даже наверняка, но мне он не понравился. Солнце пекло сквозь окна кондитерской, было душно, струйка сквозняка отбила последнюю охоту мечтать о повторении, даже если бы и представлялась возможность такого повторения.

Вечером я пошел в ресторан, куда постоянно заходил в прошлый раз и где, вероятно, по привычке чувствовал себя очень хорошо. Бывая там каждый вечер, я разузнал все до мельчайших подробностей: знал, в какой час оттуда уходили более ранние из завсегдатаев, как они раскланивались с остальной компанией, знал, где они надевали шляпы — в первой комнате, или во второй, или уже отворяя наружную дверь, или наконец за дверью. Ничто не ускользало от моего внимания; я, как Прозерпина, выщипывал по волоску с каждой головы, даже с лысой.

И тут я нашел все по-прежнему, те же остроты, те же приемы в обращении, то же участливое внимание, и самую обстановку, словом, все то же самое. Соломон говорит, что докучная речь женщины подобна капанью дождевых капель с крыши; что же сказал бы он об этой застывшей монотонной жизни? Ужасная мысль! Тут повторение оказалось возможным.

Вечером я опять был в Городском театре. Единственное, что повторилось, это невозможность повторения. Пыль на Унтер ден Линден стояла столбом. Каждая попытка смешаться с толпой, окунуться в людскую гущу сопровождалась самыми гнетущими впечатлениями. Куда я ни устремлял взоры, куда ни кидался, — всюду ждало меня разочарование. Маленькая танцовщица, пленившая меня в тот раз своей грацией и миловидностью и державшаяся, так сказать, на границе добра и зла, теперь, оказалось,

перешла эту границу. Слепец у Бранденбургских ворот, мой трубадур, — так как я был, вероятно, единственным человеком, который интересовался им, — обзавелся серым сюртуком вместо светло-зеленого, по которому я тосковал и в котором он был похож на плакучую иву. Эта перемена отняла его у меня, сделав достоянием толпы. И восхитительный пунцовый нос университетского привратника оказался полинявшим, а профессор Х.Х. щеголял уже в новеньких брюках, сидевших на нем почти по-военному!..

Так повторялось несколько дней, и наконец я столь озлобился и утомился от подобного повторения, что решил вернуться домой. Результат моей поездки оказался невелик, но своеобразен: я убедился, что повторения не существует, и убедился в этом, всеми путями добиваясь повторения.

Я возложил теперь отчаянные надежды на свой собственный угол. Юстин Кернер рассказывал где-то о человеке, которому надоел родной дом и он оседлал коня, чтобы порыскать по белу свету. Не успел он однако далеко отъехать, как лошадь сбросила всадника. Такой оборот дела решил его судьбу: собираясь снова вскочить на коня, он оглянулся, и взор его упал на родной дом, который он собирался покинуть. Человек загляделся на этот дом, залюбовался его внезапной красотой, и его потянуло назад.

У себя дома я мог наверняка рассчитывать найти все неизменным, готовым для повторения. Питая большое недоверие к любым переворотам, я дошел в этом отношении до такой крайности, что возненавидел даже всякого рода домашнюю протирку, особенно — генеральную уборку. Поэтому, уезжая, я отдал строжайший приказ, чтобы мои консервативные принципы были соблюдены в мое отсутствие. Что же, однако, ожидало меня? Мой верный слуга держался другого

мнения и рассчитывал, что если приступить к перевороту тотчас по моем отбытии, то к моему возвращению он успеет привести все вновь в прежний строгий порядок. Я возвращаюсь, звоню, слуга мне отворяет, — картина!.. Слуга бледнеет, как мертвец, сквозь полуотворенные двери в комнаты видно, что все перевернуто вверх дном. Я окаменел, а слуга, оторопев и не зная, что ему делать, в приливе угрызений совести взял да и захлопнул дверь перед самым моим носом. Это было уж слишком! Мое огорчение достигло высших пределов, мои принципы были поколеблены, приходилось опасаться худшего, что меня самого примут за привидение, как торговца Гренмейера. Словом, я убедился, что повторения вообще не бывает и что победу одержало мое новое мировоззрение.

С другой стороны, я чувствовал себя посрамленным. Я-то свысока смотрел на того молодого человека, и вот теперь я сам и есть тот молодой человек. И громкие слова, которых я уже ни за что не повторил бы, говорились мною во сне, от которого я наконец проснулся, и теперь я должен предоставить жизни беспрепятственно, вероломно отбирать у меня все *еще раз*, не допуская *повторения*. Да и не так ли оно в самом деле: чем старше становишься, тем больше обманывает тебя жизнь. Чем умнее становишься, чем больше придумываешь выходов из тяжелых положений, тем дороже платишься, тем больше страдаешь. Маленький ребенок совсем не умеет выпутываться из затруднительных ситуаций — и ничего, отделывается благополучно. Помню, я раз видел на улице няньку, катившую перед собою колясочку в двумя детьми. Одному младенцу было едва ли больше года, он заснул и лежал совсем как неживой на подушке, а подле помещалась пухленькая толстушка лет двух, в платьице с короткими рукавчиками, — настоящая

маленькая барынька. Она высовывалась из колясочки, заняв две трети ее пространства; младший ребенок лежал рядом с нею, словно пакетик, который барынька захватила с собой. С восхитительным эгоизмом она, по-видимому, не заботилась ни о ком и ни о чем, кроме себя самой, — лишь бы ей сиделось хорошо. Вдруг из-за угла быстро выехала карета. Колясочке угрожала опасность, окружающие бросились на помощь, но нянька быстрым поворотом вкатила ее в ближайшие ворота. Все свидетели этого происшествия испугались, и я тоже. Но барынька сидела себе как ни в чем не бывало, ковыряя пальчиком в носу. Она, вероятно, думала: "Мне-то что? Это нянькино дело!" Такого геройства тщетно искать у взрослых.

Чем делаешься старше, тем больше начинаешь понимать жизнь и смаковать ее прелести; иначе говоря, чем компетентнее становишься, тем меньше удовлетворяешься. Довольным жизнью вполне абсолютно, во всех отношениях не бываешь никогда, а быть довольным отчасти не стоит труда. Уж лучше оставаться вполне недовольным. Каждый, кто основательно обдумал этот вопрос, наверное, согласится со мною: в течение всей его жизни и на полчаса не дано человеку быть полностью довольным во всех отношениях. Полагаю, незачем пояснять, что для полного удовлетворения нужно кое-что большее, чем быть сытым и одетым. Но однажды я все-таки был близок к такому удовлетворению. Встав утром, я ощутил себя необыкновенно хорошо, это прекрасное самочувствие все повышалось, вопреки всякой аналогии, вместе с солнцем, и ровно в час дня я достиг зенита блаженства, предвосхищая головокружительный максимум, не отмеченный ни на каком градуснике благополучия, даже на термометре поэзии. Тело утратило земную тяжесть, у меня как будто его не было вовсе, — имен-

но потому, что каждый орган испытывал полное удовлетворение, каждый нерв наслаждался и собой, и всем телом, а каждое биение пульса, словно маятник организма, только напоминало и подчеркивало сладость минуты. Походка моя стала воздушной, — не как полет птицы, прорезывающей воздух, чтобы покинуть землю, но как колебание зноя над нивой, как полное сладкой истомы колыхание волн, как задумчивый, скользящий бег облаков. Мое существо обрело прозрачность морской глубины, блаженного безмолвия ночи, содержательной тишины полудня. Каждое настроение входило в общую гармонию души. Мысли так и роились, и всякая — как нелепейшая выдумка, так и богатейшая идея — являлись в блаженном радостном свете. Я предвосхищал всякое впечатление до того, как оно действительно пробуждалось и само меня захватывало. Весь мир как будто влюбился в меня и трепетал в знаменательном согласовании с моим бытием, все помрачилось и загадочным образом прояснилось в моем микрокосмическом блаженстве, в котором, в свою очередь, все находило свое объяснение — даже самое отталкивающее зрелище, самое скучное замечание, самое роковое столкновение. Как сказано, ровно в час дня я достиг высшего блаженства, предвкушая наивысшее, как вдруг у меня зачесался глаз; ресница ли в него попала, пылинка или соринка, не знаю, знаю только: в тот же миг я рухнул в бездну отчаяния, что легко поймет всякий, достигший, подобно мне, такой высоты и так же заинтересованный принципиальным вопросом — насколько вообще достижимо абсолютное удовлетворение. С тех пор я оставил всякую надежду еще когда-нибудь пережить это чувство, ощущать его не только все время, но даже в отдельные особые минуты, хотя бы столь редкие и немногочисленные, что их, как

говорится у Шекспира, легко сосчитать, и не зная математики".

Так вот до чего я дошел еще до знакомства с тем молодым человеком. Как только передо мной вставал вопрос или заходила речь о возможности испытать чувство полной физической или нравственной удовлетворенности хотя бы на полчаса, я сразу пасовал. Одновременно меня начала захватывать и вдохновлять идея повторения, — причем я опять стал жертвой своей верности принципам. Я глубоко убежден: если бы только я поехал в Берлин не с целью убедиться в возможности повторения, то наверное получил бы при тех же самых условиях большое удовольствие. И отчего это я не могу держаться в границах обыкновенного, все гоняюсь за принципами, отчего не могу одеваться как все другие люди, а непременно на свой особый манер? Не согласны ли все ораторы, духовные и светские, все поэты и прозаики, герои и трусы, что жизнь — поток? Так можно ли задаваться таким нелепым вопросом или — что еще нелепее — намерением превратить жизнь в ряд принципов? Мой юный друг считал: будь что будет. И это было для него куда выгоднее, нежели вздумать испытать повторение. Потому что он, вероятно, вернул бы девушку, подобно влюбленному из песни, который хотел повторения и получил монахиню с остриженными волосами и бескровными губами. Он хотел повторения и добился своего. И оно его убило.

В уборе белоснежном
Монашка у креста.
Молитву повторяют
Поблекшие уста.
Их юноша увидел
И горько зарыдал,

Ему убор смиренный
Вмиг сердце разорвал.

Да здравствует почтовый рожок! Вот мой любимый инструмент. Люблю я его по многим причинам, главное же за то, что никогда нельзя наверняка извлечь из него двух совершенно одинаковых звуков. В почтовом рожке их скрывается бесконечное разнообразие, и кто поднóсит его к своим губам, чтобы вложить в рожок свою мудрость, никогда не провинится повторением, а тот, кто вместо ответа предложит своему другу воспользоваться почтовым рожком в полное удовольствие, объяснит все, не сказав ничего. Да здравствует почтовый рожок! Это мой символ. Как у древних аскетов лежал на столе череп — символ их миросозерцания, так у меня пусть лежит почтовый рожок как напоминание о значении жизни. Да здравствует почтовый рожок!.. Самое путешествие, однако, излишний труд, — нет надобности трогаться с места, чтобы убедиться в невозможности повторения. Лучше преспокойно остаться дома: раз все суета сует, все проносится как дым, то выходит, что мчишься гораздо быстрее паровоза, даже если сидишь себе смирно. Пусть же все напоминает мне об этом беге жизни, пусть слуга мой носит почтовую ливрею, а я сам даже на званый обед буду отправляться не иначе, как в почтовой карете.

Прощай! Прощай, надежда юности! Зачем ты так спешишь? Ведь того, за чем ты гонишься, не существует, да и тебя самой тоже. Прощай, зрелое мужество! Зачем ты так энергично топаешь о землю? То, что ты попираешь, — воображение. Прощай, победоносное стремление, ты наверняка достигнешь цели, тебе ведь не унести с собою своего деяния, не обернувшись назад, а этого ты не можешь. Прощай, прелесть леса!

Я хотел полюбоваться на тебя, а ты уже увяла! Теки, быстрая река! Ты одна знаешь, чего хочешь: только струиться, раствориться в море, которое никогда не наполнится. Проносись, действо жизни, которое никто не вправе назвать ни комедией, ни трагедией, так как никто не видел конца! Разыгрывайся, драма существования, спектакль, в котором не возвращают обратно ни жизни, ни платы за вход. Почему никогда никто не возвращается из царства мертвых? Потому что жизнь не может так очаровывать, как смерть, жизнь не столь бесспорна, сколь смерть. Да, смерть отлично умеет уговаривать: стоит только прекратить ей возражать и покорно дать высказаться, как она мигом вас убедит, да так, что уже не вырвется ни слова против, ни вздоха сожаления о красноречии жизни. О, смерть! После тебя никто не говорил так прекрасно, как человек, прозванный за свою велеречивость *πεισιθάνατος*, так как он говорил о тебе со всею силою убедительности!

ПОВТОРЕНИЕ

Прошло некоторое время, преданный слуга с чисто женскою ловкостью успел исправить свою вину. В доме водворился незыблемый порядок. Что не могло двигаться, стояло на своем месте, а что могло — шло и перемещалось обычным размеренным ходом, как то: стенные часы, мой слуга и я сам, расхаживающий мерными шагами по комнатам. Хотя я на личном опыте убедился, что повторения вообще не бывает, остается все-таки непреложным, что при упорстве в привычках и притуплении наблюдательности можно достичь такого однообразия в своем обиходе, которое обладает более одурманивающею силой, чем самые причудливые развлечения, и которое с течением времени приобретает над человеком все большую и большую власть, уподобляясь формуле заклинания. При раскопках Геркуланума и Помпеи находили все на своих местах, как было оставлено хозяевами. Живи я в то давнее время, позднейшие археологи, пожалуй, с изумлением откопали бы человека, который размеренно шагал взад и вперед по комнате.

Ради поддержания порядка я применял всяческие средства, даже расхаживал в известные часы по дому, вооруженный, как император Домициан, хлопушкой, преследуя каждую революционерку муху. Зато три мухи, регулярно, в установленное время, с жужжанием облетавшие комнату, были взяты под особое

покровительство. Так жил я, забывая, мне казалось, весь мир, и сам забытый всеми — как вдруг получил письмо от моего юного друга. За первым письмом последовали с промежутками около месяца еще несколько, которые однако не давали никаких указаний о местопребывании молодого человека. Так как сам он ничего не разъяснял, письма вполне могли показаться мистификацией, тщательно исполненной, так как их отправляли примерно через каждые пять недель, и только один раз через три. Он, видимо, не желал утруждать меня ответной корреспонденцией. И если бы даже мне захотелось писать ответы, он не желал их получать, ему необходимо было только изливать свою душу.

Из первого же письма я убедился в том, что и без того уже знал, а именно: он как всякая меланхолическая натура довольно раздражителен и — отчасти вопреки этой раздражительности, отчасти в силу ее — находится в постоянном разладе с самим собой. Ему и хотелось, чтобы я был его поверенным, и вместе с тем он не хотел этого, даже боялся. Его и успокаивало мое так называемое превосходство, и в то же время оно было ему неприятно. Он доверялся мне, но не хотел знать моего мнения, не хотел даже встречаться со мной. Он требовал от меня молчания, заклинал меня молчать "ради всего святого" — и в то же время бесился при мысли, что у меня хватит силы молчать. Никто не должен был знать, что он поверяет мне все, ни единая душа, ему как будто хотелось скрыть это даже от самого себя и от меня! А чтобы как-нибудь примирить все эти противоречия к взаимному удовольствию, он соблаговолил учтиво намекнуть, что в сущности не считает меня человеком нормальным. Откуда в самом деле могло бы взяться у меня мужество что-нибудь возразить на столь смелое заявление?

Тем более, как мне кажется, моя реакция послужила бы ему дополнительным доказательством правомерности обвинения; воздержись же я от ответа, я бы вновь проявил в его глазах невозмутимость безумца, которую ничем нельзя задеть и тем более оскорбить. Такова благодарность за то, что изо дня в день годами воспитываешь в себе интерес к людям, лелеешь этот интерес как объективную идею и по возможности проявляешь его к любому, в ком еще шевелятся идеи! В свое время я стремился прийти на помощь идее, живущей в молодом человеке, ныне пожинаю плоды, а именно: я должен и быть и не быть, и присутствовать и отсутствовать, как он того и хочет, и не получать никакой награды — и таким образом еще раз помочь ему выпутаться из противоречия. Если бы он сам догадался, какое огромное, хотя и непрямое, признание моего таланта, обнаруживает он подобным требованием, то, вероятно, вновь пришел бы в бешенство. Быть его поверенным оказывалось труднее трудного; он совсем упускал из виду, что я одним словом или просьбой избавить меня от своих писем мог бы уязвить его самым чувствительным образом. Как известно, не только тому, кто разглашал тайну элевсинских мистерий, грозила кара, но и тому, кто оскорблял эти празднества отказом быть в них посвященным. Последнее, как сообщает греческий автор, случилось с человеком по имени Демонакт, который тем не менее остался невредим благодаря своей остроумной защите. Мое положение конфидента — еще более критическое, поскольку юноша прямо-таки с девической скромностью еще ревностнее оберегает свою тайну и даже злится, когда я исполняю его настоятельное требование — храню молчание.

Если он однако думал, что я совершенно забыл его, то опять ошибался. Когда молодой человек так вне-

запно исчез, я всерьез стал опасаться, что он с отчаяния наложил на себя руки. Но такие события обыкновенно недолго остаются тайной, и так как мне не приходилось ни слышать, ни читать ни о чем похожем, я заключил, что он должен быть жив, где бы ни находился. Возлюбленная его, которую он бросил на произвол судьбы, не знала ровно ничего. В один прекрасный день он словно в воду канул. Но молодая девушка не сразу низверглась с вершины блаженства в бездну отчаяния. Жуткое предчувствие просыпалось в ней постепенно, переходя в печаль, и она потихонечку застывала в мечтательном недоумении насчет того, что же собственно произошло и что бы такое могло все это означать?

Девушка доставила мне новый материал для наблюдения. Приятель мой не принадлежал к числу тех, кто способен, так сказать, высосать из своей любви все соки, извести возлюбленную и затем ее бросить. В момент его исчезновения молодая девушка, напротив, находилась в самом превосходном виде — здоровая, цветущая, обогащенная плодами его поэтического творчества, упоенная драгоценным нектаром поэтических вымыслов. Не часто случается встретить покинутую девушку в таком состоянии. Я видел ее всего несколько дней после исчезновения, и она была еще так жива и подвижна, как свежепойманная рыбка, тогда как любая в ее положении смотрится заморенной и вялой, как рыбина, долго пробывшая в садке. Я поэтому в глубине души был вполне убежден в том, что юный друг мой остался в живых и мне очень по сердцу было, что он не прибегнул к отчаянному средству, не распустил слухов о своей смерти. Просто невероятно, какая сумятица вносится в любовные отношения, если одной стороне вздумается действительно умереть

с горя или прослыть умершей с горя, чтобы окончательно разделаться со всей этой историей.

А вот девушка умерла бы от горя, узнай, что ее возлюбленный оказался обманщиком. Так она сама торжественно клялась. Но ведь обманщиком-то он никаким не был, и, возможно, его намерения были куда лучше, чем она думала. Иначе он бы сумел в свое время сделать то, на что сейчас уже не решался, — просто потому, что однажды она напугала его своим признанием, потому, что, по его словам, применила к нему ораторский прием. В общем, произнесла то, чего девушка никогда говорить не должна, неважно, верит ли, что он действительно обманщик (тогда она чересчур заносчива), или не верит (тогда она должна согласиться, что чудовищно несправедлива к нему). Для мужчины хотеть умереть, чтобы со всем покончить, — самое жалкое из всех возможных средств, наносящее девушке наиболее чувствительную обиду. Она поверит, что он умер, наденет траур, будет лить слезы, искренне оплакивая его смерть. Позднее, однажды узнав, что он жив и менее всего о смерти думает, она должна будет испытывать почти что отвращение к собственным чувствам. А что если только в ином мире она в первый раз заподозрит — не что он взаправду умер (ведь это будет неоспоримо), а что уже он был мертвецом в тот момент, когда говорил, что умрет, и она скорбела о нем. Эта тема — как раз для апокалиптического писателя, проникновенно прочитавшего Аристофана и Лукиана (я имею в виду по-гречески, а не так, как доктора, что получили степень, подобно средневековым *doctores cerei*). Можно было бы долго усугублять эту путаницу, поскольку он-то был бы уже мертвец и мертвецом оставался. А скорбящая девушка ожила бы и начала с того момента, как они рас-

сталисъ, пока бы не узнала, что там было небольшое промежуточное положение.

...Первое же письмо от моего юного друга воскресило во мне воспоминания, и я отнюдь не равнодушно вновь занялся его историей. Дойдя при чтении до совсем неудачного посыла, что я ненормален, я сразу догадался: ну, видно, у него есть тайна, заветнейшая из заветных, и эту тайну охраняет ревность, у которой глаз больше, чем у Аргуса. В то время, когда мы с ним еще виделись, от меня не ускользало, что он прежде чем пуститься в откровенность, оговаривался, мол, вы ведь чудак. Что ж, это может ожидать каждого наблюдателя. Он должен уметь давать гарантии тому, кто приходит исповедоваться. Женщины, делающие признание, всегда требуют положительных гарантий, мужчины — отрицательных. Причиной тому женская преданность и покорность, а также мужская гордость и своеволие. И в самом деле, сколь утешительна мысль, что тот, к чьему совету и наставлению в интимных делах прибегаешь, — дурак. Тогда ведь нечего стесняться или стыдиться, разговаривать с таким человеком все равно что с чурбаном... "Так, ради курьеза" — можно сказать, если кто спросит: чего ради? Иначе с какой же стати разговаривать с чурбаном! Наблюдатель должен поэтому усвоить особенный легкий тон, ведь иначе не вызвать на откровенность. Пуще же всего ему надобно остерегаться всяких этических строгостей, не следует даже аттестовывать себя нормально-нравственным существом. Такому разве доверяются? Человеку испорченному — дело другое. "Он и сам такой, у него бывали всякие истории, *ergo* — почему же мне ему не открыться? Я ведь все-таки куда лучше!" — вот приблизительно как рассуждают про конфидента. Я лично ничего не требую от людей, кроме предъявления содержания

сознания. Этим я дорожу и не постою ни за какой ценой, чтобы добиться цели, если это содержание ценно.

Достаточно было наскоро пробежать письмо, чтобы стало ясно, какой глубокий след оставила в душе моего юного друга его любовная история, даже еще более глубокий, чем я предполагал. Очевидно, он скрывал от меня некоторые свои настроения, — оно и понятно: тогда я был в его глазах пока только чудаком, теперь же стал сумасшедшим, это уже *etwas anders*. Словом, обстоятельства сложились так, что ему оставалось только прибегнуть к религии. Вот как любовь постепенно заводит человека все дальше и дальше. И мне вновь, как не раз прежде, пришлось признаться самому себе: "Да, существование бесконечно глубокомысленно, управляющая им сила умеет завязывать интриги искуснее всех поэтов *in uno*".

Молодой человек был вообще столь богато одаренным, такого духовного склада, что я готов был пари держать, что он не запутается в сетях любви. Бывают ведь исключения, которые в этом отношении не укладываются в обычные рамки. Особенно развита у него фантазия. И раз в нем пробудилось поэтическое творчество, ему было чем наполнить жизнь, особенно если сам он понимал себя правильно и ограничился бы творчеством в уютной домашней обстановке, работал бы умом и фантазией понемножку для собственного развлечения. Это вполне может заменить ему любовь, так как не влечет за собою трудностей и фатальностей любви, и в тоже время дает возможность пережить прекраснейшие стороны любовного блаженства. Такая натура не нуждается в женской любви — я думаю, это оттого, что в предыдущей жизни он сам был женщиной и сейчас хранит это в воспоминании. Влюбиться в девушку для такого человека значит прийти в

полное замешательство и исказить собственную задачу, поскольку он едва ли не перенимает ее роль. Это одинаково пагубно как для нее, так и для него. Но, с другой стороны, он явный меланхолик. Насколько первое обстоятельство удерживает его от чрезмерного приближения к женщине, настолько же последнее служит ему защитой против какой-нибудь хитроумной красавицы, вздумавшей его преследовать. Глубокая меланхолия при благожелательной манере поведения есть и будет полным крахом всех женских уловок. Допустим, девушке удастся привязать его к себе; но в те минуты, что она празднует свой триумф, ему может прийти в голову спросить себя: "А что если, отдаваясь чувству, ты поступаешь с ней грешно и нечестиво? Не стоишь ли ты просто на ее пути?.." — и тогда конец всем женским интригам. Сейчас ситуация странным образом изменилась: он принял ее сторону и теперь будет только стремиться углядеть все те превосходные качества, которыми она обладает, будет учиться тому, как подать их лучше, чем могла бы она сама, и восхищаться ими громче, чем она бы потребовала, — но вот на большее ей никогда его не подвигнуть.

Стало быть, я никак не ожидал, что он запутается в любовной истории. Но жизнь полна лукавства! Его сокрушили не чары возлюбленной, но раскаяние в том, что он вторгся в ее жизнь, смутил ее душу, — вот в чем он считал себя виновным. Он необдуманно сблизился с девушкой, потом убедился, что назначение любви для него неисполнимо, что он может быть счастлив и без девушки, — особенно благо́даря открывшемуся дару поэтического творчества, — и порвал с нею. Но, совершив это, он не мог отделаться от мысли о своей виновности. Как будто грех порвать отношения, которые нельзя реализовать!.. Если спросить его, даже будь он непредвзят: "Перед тобой

девушка. Сблизишься ли ты с ней? Полюбишь ли ее?", все равно ответом скорее всего будет: "Ни за что на свете. Я уж знаю, чем это закончится. Такого не забудешь". И все же вопрос должен быть задан, если только он себя не обманывает. Ведь он все еще уверен, что не сможет, говоря по-человечески, реализовать свою любовь. Стало быть, он стоит у границ чудесного, и если в конце концов это свершится, то не иначе как силой абсурда. Интересно, не догадывается ли он сам об этом? Или же для его умной головы сие чересчур изобретательно? Действительно ли он любит девушку, или она всего лишь причина, приводящая его в движение? Без сомнения, не она завладела им в строгом смысле слова; он захвачен возвращением, которое надо мыслить чисто формально. Умри она на следующий день, его б это не потрясло, он бы даже не осознал потери, его душа сохраняла бы покой. Внутренний раздор, в который его ввергла встреча с нею, уляжется только тогда, когда он действительно к ней вернется. Ведь пока что девушка существует не сама по себе, а как отражение его шатаний и того, что их вызывает. Она много для него значит, и он никогда не сможет забыть ее, но значение это появляется не благодаря тому, что она есть, а из его отношений с нею. Она — точно граница его существа, но такие отношения нельзя считать эротическими. Человек религиозный сказал бы, что Господь послал эту девушку, чтобы уловить его, потому-то девушка и не выступает сама по себе, но подобна приманке, насаживаемой на крючок. Я уже убедился, что он так нисколько и не узнал девушки, даже несмотря на то, что обручился и с этих пор помышлял только о ней. Но вот то, что она — женщина, то есть сама обворожительность, любезность, преданность, готовность пожертвовать собой ради любви, та, для которой мужчина способен

поменять местами небо и землю, — это не приходит ему в голову! Если бы он отдавал себе отчет, какую радость, какое наслаждение подарит ему любовь такой девушки, он бы, скорее всего, не знал что сказать. Я уверен: захватившее его осуществится в то самое мгновение, когда ему представится возможность восстановить свои честь и достоинство; впрочем, по-моему, не поддаваться ребяческим страхам тоже ведь дело чести... Может быть, он ждет потрясения, в котором переродится все его существо. Но это для него ничто по сравнению с жаждой отомстить за то существование, что поглумилось над ним, сделав его виновным, когда он невиновен, и обессмыслило его отношение к действительности до такой степени, что, даже будучи по-настоящему влюбленным, он казался обманщиком. Не слишком ли тяжела эта задача? Однако, быть может, я его не вполне понимаю, быть может, он что-то скрывает, может, он в конце концов действительно любит ее?! Похоже, я знаю, чем закончится эта история: в один прекрасный день он предаст меня смерти ради того, чтобы поверить мне сокровеннейшую тайну. Нет, все-таки профессия наблюдателя весьма опасна. И все-таки я мечтал бы, чисто ради психологического интереса, на мгновение изъять девушку из истории и заставить его поверить, будто она вышла замуж; бьюсь об заклад, он будет готов дать этому свое объяснение; ведь он с его зараженными меланхолией чувствами ради ее спасения вбил себе в голову, что любит ее.

Вставшей на его пути преградою явилась ни более ни менее, как проблема повторения. То, что он не искал разрешения своих сомнений ни в греческой философии, ни в новейшей, было вполне естественно. Греки делали ведь обратное движение, грек всегда выбрал бы воспоминание, не пугаясь угрызений

совести. Новейшая философия вообще только поднимает шум, она не делает никакого движения, а если и делает, то всегда имманентное; повторение же, напротив, всегда трансцендентно. Счастье, что мой юный друг не обратился за разъяснениями ко мне. Я ведь отказался от своей теории, я бездействую. Повторение и для меня слишком трансцендентно. Я могу охватить в созерцании самого себя, но не могу стать вне себя самого, такой архимедовой точки мне не отыскать. Хорошо также, что юный приятель мой не искал объяснения у какого-нибудь всемирно известного философа или *professor publicus ordinarius*. Он прибегнул к частному мыслителю, одно время обладавшему всеми благами мира, а затем отрешенному от жизни. Другими словами, он прибег к *Иову*, который не возвышался на кафедре и не ручался за истину своих положений, подкрепляя доказательства жестикуляцией, но сидел на куче пепла и скоблил себя черепками, бросая между делом меткие замечания и намеки. И мой юный друг решил, что нашел чего искал — в тесном кружке Иова, его жены и трех его друзей, где слова истины якобы раздавались величественнее, радостнее и правдивее, чем на греческом пиру.

Итак, хорошо, что он больше не нуждался в моем руководстве. Я не способен эволюционировать в направлении религии: это противоречит моей натуре. Я не отвергаю действительности подобного движения, как и не отрицаю, что можно многому научиться у такого человека, как мой юный друг. Если он пройдет этот путь, он освободится от всякого чувства раздражения по отношению ко мне. Готов согласиться, однако, что чем больше вникаю в историю моего юного друга, тем глубже подозреваю, что девушка так или иначе позволила себе захотеть поймать его, воспользовавшись его меланхолией. В таком случае я не хотел

бы быть на ее месте. Ее ждет беда. Жизнь всегда жестоко мстит за подобное!

---

15 августа.

Мой безответный поверенный!

Пожалуй, Вас удивит это неожиданное письмо от того, кто уже давно умер для Вас и почти забыт, или забыт и как бы умер. Впрочем, нельзя рассчитывать, чтобы оно Вас особенно удивило. Представляю, как Вы, получив письмо, тотчас достали из хранилища своей памяти мою "историю" и сказали: "А, это тот злополучный влюбленный, на чем, бишь, мы с ним остановились?.. Ах да! Ну, теперь симптомы, вероятно, будут такие-то". Это Ваше хладнокровие поистине ужасно. Как вспомню о нем, вся кровь во мне вскипает, — и все-таки я не могу освободиться из-под Вашего влияния. Вы приковали меня к себе непостижимой силой. Разговоры с Вами невыразимо облегчают и успокаивают: беседовать с Вами все равно что с самим собою или с идеей. Когда же выскажешься, отведешь душу и вдруг обратишь внимание на Ваше невозмутимое лицо да вместе с тем вспомнишь, что перед тобою ведь все-таки человек, вдобавок страшно умный, — то становится почти жутко. Господи Боже, страдальцу свойственна некоторая щепетильность, он не станет поверять своих страданий первому встречному, он требует от того, кому доверяется, скромности,

молчания. На Вас в этом отношении, правда, положится можно, но сколько ни утешаешь себя этим, — нет-нет да и станет жутко. Ведь это Ваше молчание, молчаливее самой могилы, хранит, вероятно, немало подобных вкладов. Вы знаете подноготную каждого и способны в любую минуту безошибочно достать из хранилища памяти чью-нибудь другую тайну и начать разбираться в ней как раз с того пункта, где остановились. Как подумаешь об этом, — зло берет на себя за то, что доверился Вам. Повторяю, страдальцу свойственна некоторая щепетильность. Ему хочется, чтобы тот, кого он посвящает в свои страдания, понимал и чувствовал всю их важность, все их значение. Вы и в этом отношении не обманываете ожиданий. Вы схватываете малейшие оттенки лучше самого страдальца. Но в следующую минуту я прихожу в отчаяние от такого Вашего превосходства. Вы во всем сведущи, для Вас нет ничего нового, неизвестного. Будь я владыкой мира, — горе Вам! Я посадил бы Вас в клетку и возил с собой повсюду, чтобы Вы принадлежали мне одному. И, вероятно, я этим сам уготовил бы себе казнь — мучительный ужас ежедневного общения с Вами. Вы обладаете демоническим свойством, искушающим человека дерзать на все, воображать в себе силы, которых у него вообще нет и которых ему даже не хочется иметь. Вы одним своим взглядом внушаете человеку желание показаться в Ваших глазах не тем, что он есть, — чтобы только заслужить Вашу одобрительную улыбку: в ней неописуемая награда. Я охотно проводил бы с Вами круглые сутки, слушая Вас и день, и ночь; тем не менее, когда дошло до дела, я ни за что не решился бы на него в Вашем присутствии. Вы могли бы одним своим словом спутать все мои мысли и намерения. Боже упаси меня обнаружить перед Вами свою

слабость! Тогда в мире не стало бы более жалкого человека, чем я, — мне казалось бы, что я с тех пор потерял все, даже самого себя. Так Вы приковали меня к себе непостижимой силой, которой я вместе с тем боюсь. Я восхищаюсь Вами, и все же Вы порою кажетесь мне маньяком. В самом деле, разве это не своего рода безумие — стремиться до такой степени подчинять каждую страсть, каждое волнение своего сердца, каждое настроение холодной власти своего рассудка? Разве это не мания — стараться быть до такой степени нормальным, являться какою-то идеей человека, а не живым человеком, не таким, как все мы, слабые и шаткие? Разве не сумасшествие — быть всегда настороже, всегда отдавать себе отчет во всем, никогда не поддаваться смутным грезам?

В данную минуту я не посмел бы повидаться с Вами, но и обойтись без Вас не могу. Поэтому пишу, но убедительно прошу Вас не утруждать себя ответом. Из предосторожности не указываю адреса своего. Так мне хочется. Так мне приятно писать Вам. Так я спокоен и рад общению с Вами.

Ваш план был превосходен, бесподобен. И минутами я еще способен, как дитя, хвататься за героический образ, который Вы некогда рисовали перед моим восхищенным взором, поясняя, что в нем мое будущее. Если бы у меня хватило решимости облечься в этот образ, я сам должен бы был преобразиться в героя. В свое время этот-то план и захватил меня со всею силой иллюзии, разжег мою фантазию так, что я ходил в каком-то чаду. Да, таким образом подвести итог всей своей жизни, из-за одной девушки! Превратить себя в негодяя, в обманщика, ради того лишь, чтобы доказать, как высоко ценил ее, — ради ничтожества ведь не жертвуют своей честью. Заклеймить себя самого, загубить свою жизнь! Взять на себя дело мести

и осуществить его действительно, а не так, как это делает пустая болтовня людская! Стать героем — воистину, не в глазах света, но в своих собственных, не иметь никакой опоры в борьбе с окружающими, но заживо замуроваться в собственной личности, в себе самом иметь и своего свидетеля, и обвинителя, и судью, все соединить в себе одном! Обречь себя в будущем на вечный разлад мыслей, так как подобный шаг является до известной степени, с человеческой точки зрения, разрывом с разумом. Сделать все это из-за одной девушки! И если бы этот план удался, мой образ действий явился бы, как Вы подчеркивали, самым рыцарским и наиболее совершенным в эротическом смысле комплиментом юной особе, комплиментом, превосходящим любой сказочный подвиг именно потому, что и арена, и орудие подвига — ты сам. Эти Ваши слова произвели на меня глубокое впечатление. Разумеется, в них не было и тени романтизма, да и что могло быть общего между Вами и романтизмом! Нет, все это сказано спокойно, как будто Вы ради одного этого вопроса проштудировали все рыцарские романы. А для меня такое открытие в области эротизма оказалось тем же, что для мыслителя открытие новой категории.

К сожалению, я не был художником, обладающим необходимой силой и выдержкой для выполнения подобной задачи. И к счастью, я виделся с Вами лишь наедине и редко. Будь Вы у меня под рукой всегда, сиди Вы тут же в комнате, хотя бы в уголке, занятый чтением, писанием, чем бы то ни было посторонним, и все-таки — я это знаю — ничего не упускающий из виду, — я, пожалуй, решился бы! Но это было бы ужасно. Разве не ужасно изо дня в день опутывать свою возлюбленную сетью лжи? А если бы она схватилась за средства, бывшие в ее распоряжении, за

женские мольбы и заклинания, если бы со слезами стала молить меня, заклинать моею честью, моею совестью, моим спасением и душевным миром в течение всей жизни и в час смерти, на земле и за гробом? При одной мысли меня охватывает дрожь.

Я не забыл оброненных Вами отдельных намеков, на которые вообще не смел возражать, так как был слишком очарован Вами. "Если девушка права, прибегая к таким средствам, то и не надо противиться им, мало того, надо помогать ей пользоваться ими. Рыцарское отношение к девушке обязывает не только оставаться верным себе, но и выступать ее же защитником. Если же она неправа, то средства эти ни к чему не обязывают, — и их попросту игнорируют". Это все верно, безусловно логично, разумно, но у меня нет такой разумности. "Сколько нелепых противоречий порождает и человеческая трусость, и человеческое мужество. Бояться увидеть что-нибудь ужасное — на это у Вас мужества хватает; видеть же, как она плачет, бледнеет, отчаивается, сохнет, — а на это не хватает! Но ведь второе ничто в сравнении с первым. Раз Вы знаете, чего хотите, почему и ради чего, то и должны наблюдать за тем, как осуществляется Ваше хотение, должны считаться с каждым аргументом, а не бежать украдкой, в надежде, что фантазия Ваша будет к Вам милостивее, нежели сама действительность. Этим Вы только обманываете самого себя. Ваша живая фантазия разгорится совсем иначе, когда придет время, Вы будете тогда представлять себе отчаяние девушки еще ярче, и оно будет Вас мучить сильнее, нежели если бы Вы видели его воочию и даже растравляли его, чтобы зрелище этого отчаяния было тем мучительнее для Вас".

Все верно, каждое слово истина, но истина такого рода, что годится только для мертвого, а не для живо-

го мира, так как она холодна в своей логичности. Она меня не убеждает и не трогает. Я признаюсь, что слаб, был слаб и никогда не буду настолько силен или бесстрашен. Примите, однако, во внимание все обстоятельства, поставьте себя на мое место, да не забудьте, что искренне любите девушку, так же искренне, как и я. Я уверен, что Вы восторжествовали бы, добились своего, превозмогли все ужасы, по-настоящему обманули бы ее своим притворством. Что же вышло бы из этого? В самом лучшем случае Вы бы поседели в ту же минуту, как только ослабело напряжение всех Ваших сил, а спустя еще час Вы испустили бы дух. В худшем же случае Вам пришлось бы, согласно своему плану, продолжать фальшивую игру. Положим, Вам это удалось, — в этом я убежден; но неужели Вы не боялись бы потерять рассудок? Не боялись поддаться пагубной страсти, которая зовется презрением к людям? Быть таким образом внутренне правым и преданным — и выдавать себя за негодяя? Обманывать людей таким образом, глумиться не только над пошлостью, ничтожеством и их обычным спутником — чванством, но и над лучшими сторонами человеческой жизни? Да может ли мозг выдержать подобное? Как Вы думаете, не пришлось бы Вам вскакивать по ночам, чтобы выпить стакан холодной воды или приняться за проверку своих расчетов?

Если бы я начал эту игру, я бы долго не выдержал. Я и выбрал другое средство, украдкой уехав из Копенгагена в Стокгольм. С Вашей точки зрения сие было неправильно, мне следовало уехать открыто. Но представьте, что она в это время пришла бы на пристань, — при одной мысли об этом меня кинуло в дрожь. И представьте, что я увидел бы ее лишь тогда, когда пароход уже отчалил. Мне кажется, я бы ли-

шился рассудка. Не сомневаюсь, что у вас хватило бы сил остаться спокойным. Будь это необходимо и ожидай Вы, что она появится у пароходе, Вы были бы способны захватить с собою на пристань и ту модисточку, открыто уехать с нею вместе. Будь это необходимо, Вы не только купили бы сообщничество такой модистки, но даже и соблазнили ее по-настоящему, лишь бы оказать услугу своей возлюбленной.

Но представьте себе, что Вы вдруг проснулись однажды ночью и не узнали самого себя, — до такой степени Ваша личность успела исказиться по тому образцу, который Вы создали с целью осуществить свой благонамеренный обман? Не могу не подтвердить: Вы отнюдь не говорили, что можно начать эту игру с легким сердцем. Но Вы обронили однажды замечание, что в такой развязке никогда и не было бы безусловной необходимости, если бы девушка не оказалась отчасти сама виноватой: настолько легкомысленной, что вовсе не слышала предостерегающего голоса сердца, или настолько эгоистичной, что не обращала на него внимания. Пусть так. Но вдруг настала бы минута, когда девушка поняла, как ей следовало поступить, и пришла бы в отчаяние от своего промаха, последствия которого, однако, зависели не столько от ее жестокосердия, сколько от личности другого. Не случилось бы тогда с нею того же, что случилось со мной? Она и не думала, не гадала, какие силы приводила в движение, какими страстями играла, — и таким образом оказалась во всем без вины виноватой. Разве не вышло бы тогда, что с нею поступили слишком строго? Если уж вообще реагировать на такую безвинную вину, то я предпочту брань, гнев, но не такое безмолвное бесстрастное обвинение.

Нет, нет, нет! Я не мог, не могу и никогда, ни за что на свете не смогу пойти на это. Нет, нет, нет! О, я

готов прийти в отчаяние от этих знаков отрицания, которые торчат тут, холодные, безучастные, ничего не говорящие. Послушали бы Вы, какими взрывами они звучат в моих устах теперь, когда у меня словно горит все внутри. О, если бы я, произнеся мое последнее "нет", мог вырваться из Ваших рук, как Дон Жуан из рук командора, которые были не холоднее Вашей беспощадной рассудочности, безмерно меня увлекающей. И все же, стой я возле Вас, я навряд ли произнес больше одного "нет"; прежде чем я успел произнести второе, Вы, без сомнения, зажали бы мне рот своим ледяным "разумеется".

Я поступил, как человек средний, по жалкому мещанскому шаблону. И понятно, что Вы смеетесь надо мной. Когда пловец, привыкший бросаться в море с высоты корабельной мачты, да еще перекувырнуться в воздухе прежде, чем нырнуть, приглашает другого последовать своему примеру, а этот другой осторожно спустится с трапа да сначала окунет правую ногу, потом левую и тогда лишь бултыхнется в воду, то... излишне говорить, что сделает первый. Я в один прекрасный день исчез, не сказав ей ни слова, взял себе билет на пароход в Стокгольм и сбежáл тайком от всех. Боже, помоги ей самой найти объяснение! Вы не видели ее, той девушки, имени которой я больше не назову никогда, не в силах начертать его и на бумаге, — так мне страшно. Видели Вы ее? На ней лица нет? Может быть, она умерла? Или предалась отчаянию? Или утешается какими-нибудь предположениями?.. Все так же ли воздушна ее походка или головка поникла, а стан сгорбился под тяжестью горя? Господи, моя фантазия не скупится. А губки ее поблекли? Эти губки, которыми я восхищался, хотя позволял себе целовать только ее руки. А глаза ее смотрят устало, задумчиво... ее глаза, прежде столь

детски веселые?.. Напишите мне, прошу Вас... Нет, не пишите. Не надо мне Ваших писем. Не хочу слышать о ней ничего. Я не поверю ничему и никому, ни другому человеку, ни ей самой. Пусть она встанет передо мною воочию, свежее, веселее прежнего, — я не обрадуюсь, не поверю ей, буду думать, что это обман, притворство, чтобы надсмеяться надо мной или утешить меня. Видели ли Вы ее? Нет! — надеюсь, не позволили себе видеться с нею или вмешиваться в мою любовную историю. Если я только узнаю!.. Стоит девушке стать несчастной, как сейчас слетаются к ней все эти голодные коршуны, чтобы утолить свое психологическое алкание, чтобы написать роман. Если б я только мог обрушиться на них или по крайней мере не подпускать этих жадных мух к плоду, который казался мне слаще всего на свете, нежнее, заманчивее бархатистого персика в полном соку!..

Что я делаю? Опять начинаю сначала? Так начну лучше с конца. Я избегаю всякого внешнего напоминания об этой истории, меж тем как душа моя день и ночь, наяву и во сне постоянно занята ею. Я никогда не произношу ее имени и благодарю судьбу за то, что я по недоразумению живу тут под чужим именем. Ведь мое имя принадлежит, в сущности, ей. Ах, если бы я мог совсем избавиться от него. Его одного достаточно, чтобы напомнить мне обо всем, и все, что ни творится вокруг меня, представляется мне намеками на это имя. За день до моего отъезда я прочел в газетных объявлениях: "16 аршин добротной черной шелковой материи продается по случаю перемены обстоятельств". А для каких обстоятельств предназначалась эта материя, может быть, для свадебного фрака?.. Какая жалость, что мне нельзя публиковать в газете о продаже моего имени "по случаю перемены обстоятельств". Если бы какой-нибудь всесильный дух

отнял у меня имя и затем предложил обратно, украшенное печатью бессмертия, я бы отшвырнул его от себя, моля о самом ничтожном, ничего не говорящем обозначении, о позволении числиться просто под номером, например, 14, как один из "синих мальчиков". К чему мне имя, раз оно не мое, к чему мне прославленное имя, раз оно — мое старое?

Что славы льстивые напевы
Перед любовным вздохом девы?

Что же я теперь делаю? Днем хожу, как во сне, а ночью лежу без сна. Я прилежен и деятелен, образец домоседа и труженика; я пряду, пряду неустанно. Но вечером, когда надо отставить прялку в сторону, самой прялки не оказывается, и куда девалась пряжа Аллах ведает! Я не знаю ни усталости, ни отдыха, я тружусь усердно, но куда девается плод моего труда? Любой рабочий-поденщик совершает чудеса в сравнении со мною. Словом, если Вы хотите понять, если хотите иметь представление о моем бесплодном труде, то вдумайтесь в слова поэта, относя их к моим мыслям, — вот все, что я могу сказать:

Облаков плыла усталая гряда,
Ветер их носил туда-сюда,
Наконец, у них не стало силы,
Наземь рухнули, нашли себе могилы!..

Вряд ли нужно говорить Вам больше, или, вернее, мне нужно бы Ваше присутствие, чтобы сказать больше, чтобы толковее, яснее выразить то, что моя бредущая ощупью мысль в состоянии дать понять Вам лишь смутно.

Если бы я хотел рассказать все подробно, письмо мое вышло бы бесконечным или по крайней мере таким же длинным, как дурной год или как времена, о которых говорится: скорее бы они прошли! У меня есть, однако, одно преимущество, что я могу оборвать письмо, где мне угодно, как в любую минуту могу оборвать нить, которую сам пряду. Ну да Бог с Вами! Кто верит в значение существованья, хорошо застрахован: до всего дойдет; это столь же несомненно, как и то, что человек, закрывающий на молитве свое лицо шляпой, скрывает и свои чувства.

За сим, милостивый государь, честь имею и проч.... Да, хочу или нет, я все же остаюсь

Вашим

преданным

безымянным другом.

---

19 сентября.

Мой безответный поверенный!

Иов! Иов! О, Иов!.. Неужели ты так и не сказал ничего, кроме тех прекрасных слов: "Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно имя Господне"? Неужели ты не сказал ничего бсльше? И, страдая, все время продолжал повторять только это? Почему же ты молчал семь дней и ночей? Что происходило тогда в твоей душе? Неужели ты обрел это сверхчеловеческое самообладание сразу, когда вся тяжесть существования

обрушилась на тебя, и ты очутился среди одних обломков? Сразу ли нашел для любви истолкование, сразу ли утвердился в этом прямодушном доверии и бесхитростной вере? Неужели и твоя дверь заперта для страдальца, и у тебя не найдется для него иного утешения, кроме скудности, предлагаемой земной мудростью, лекционного параграфа о совершенстве жизни? Или ты не можешь, не смеешь сказать больше официальных утешителей, которые на манер чопорных церемониймейстеров предписывают человеку повторять в беде своей: "Бог дал, Бог и взял, да благословенно имя Господне" — ни больше, ни меньше, как принято, например, говорить чихающему "будь здоров"?.. Нет, ты в дни своего благополучия был мечом угнетенных, посохом согбенных; не изменил ты людям и когда все рушилось; ты развязал уста страдальцам, облегчил стоном сердца сокрушенных, подбодрил воплем души охваченных страхом, вернул голос тем, кто онемел от мук, явился верным свидетелем всякого горя и всех терзаний, могущих внедриться в сердце, надежным ходатаем, который осмеливается жаловаться "в горести души своей" и спорить с Богом.

Почему это скрывают? Горе обирающему сирот и вдов, обманом оттягивающему у них наследство, но горе и тому, кто лукаво хочет обмануть страдальца, отнять у него временное утешение в скорби, возможность облегчить душу "состязанием с Богом". Или, может быть, страх Божий в наше время так велик, что страдалец не нуждается в обычае тех древних времен? Может быть, нельзя жаловаться Богу? Что же, больше стало страху Божьего или вообще страху и трусости? В наше время полагают, что слова истинной скорби, огненный язык страстного отчаяния надо предоставить поэтам, которые, подобно адвокатам в низшей судебной инстанции, ведут дело страдальца

перед судом человеческого сострадания. Заходить дальше никто не рискует. Заговори же хоть ты, незабвенный Иов! Повтори все, что ты сказал, могучий заступник, бесстрашно выступавший перед судом Всевышнего, подобно рыкающему льву! В твоей речи мощь, в твоем сердце страх Божий, даже когда ты жалуешься, когда оправдываешь свое отчаяние обвинениями друзей, которые, подобно разбойникам, одолели тебя своими речами, даже когда ты, подстрекаемый этими друзьями, попираешь их мудрость, с презрением отвергаешь их заступничество за тебя перед Богом, — как заступничество дряхлого придворного или жалкого в своей мудрости политикана. Ты нужен мне, человек, умеющий жаловаться так громко, что голос отдается в небесах, где Бог вступает в заговор с сатаной против человека. Жалуйся, Бог не боится, он сумеет тебя оправдать. Но как мог бы Он оправдать себя, если бы никто не смел роптать, как подобает человеку? Говори же, возвысь голос! Бог ведь может заговорить еще громче, в его распоряжении громы, — но и это будет ответ самого Бога, который даже если сокрушает человека, все-таки куда прекраснее людской болтовни и слухов о справедливости провидения, измышленных человеческой мудростью, распространяемых старыми бабами и полумужчинами.

Мой незабвенный благодетель, многострадальный Иов! Смею ли примкнуть к тебе, послушать тебя? Не отталкивай меня, я не лукаво прибегаю к твоему очагу, мои слезы не поддельны, хотя я и не был бы способен только плакать с тобой. Как человек радостный ищет радости, стремится разделить радость других, хотя бы сам-то радовался больше всего той радости, которая живет в нем самом, — так страдалец ищет страданий. Я не был обладателе целого мира, не было у меня семи сыновей и трех дочерей; но ведь и тот мог

утратить все, которому принадлежало лишь немного. и тот как бы потерял сыновей и дочерей, кто утратил возлюбленную, и тот как бы покрыт гнойными язвами, кто лишился доброго имени и гордости, а с ними вместе — силы жизни и смысла ее.

Ваш *безымянный друг.*

---

11 октября.

Мой безответный поверенный!

Я дошел до крайних пределов. Существование оп ротивело мне, оно безвкусно, лишено соли и смысла Будь я голодней Пьерро, я все-таки не стал бы жевать объяснений, предлагаемых людьми. Говорят. можно ковырнуть пальцем землю и понюхать, чтобы узнать, куда ты попал, я ковыряю существование, — оно ничем не пахнет. Где я? Что такое мир? Что означает самое это слово? Кто обманом вовлек меня сюда и бросил на произвол судьбы? Кто я? Как я пришел в мир? Почему меня не спросили раньше, не познакомили со здешними нравами и обычаями, а прямо втиснули в шеренгу, словно рекрута, завербованного поставщиком душ? Откуда взялась во мне заинтересованность в этом крупном предприятии, именуемом действительностью? Каков мой интерес? Разве участие это не в воле каждого? А если я обязан участвовать, то где председатель? К кому же мне обратиться с жалобой? Существование — своего рода словопрени.

так не угодно ли считаться и с моим мнением! Если же приходится брать существование таким, каково оно есть, то не следовало ли о том поставить человека в известность? И потом, что значит обманщик? Не говорит ли Цицерон, что можно отыскать такового, задав вопрос: *cui bono?* Я каждому представляю право спрашивать и сам спрашиваю каждого: какая мне польза, загубить себя и девушку? Вина... Что такое вина? Не злые ли чары? Можно ли знать наверняка, каким образом человек становится виновным? Что же никто не отвечает? Разве это не первостепенной важности вопрос для всех г.г. участников?

Мой ум остановился, или, вернее, я схожу с ума. Минутами я чувствую себя таким усталым, расслабленным, полумертвым, бесчувственно-равнодушным ко всему. Затем я вдруг прихожу в неистовство и в отчаянии бросаюсь из одного конца мира в другой, чтобы на ком-нибудь сорвать свой гнев. Все мое существо находится в вопиющем противоречии с самим собою. Как могло случиться, что я стал виновным? Или я не виновен? Так почему же я называюсь виновным на всех языках? Что за жалкая выдумка тогда язык человеческий, говорящий одно, а разумеющий другое?

Разве со мной не произошло нечто особенное, настоящее событие? И мог ли я знать заранее, что в моем существе произойдет перемена, что я стану другим человеком? Не прорвалось ли вдруг наружу то, что смутно таилось в моей душе? Но если оно таилось, то как же я мог предвидеть, что случится? Если же я не мог предвидеть, то ведь я не виновен!.. Случись со мною нервный удар, — я и тогда был бы виновен? Что же в таком случае за жалкая тарабарщина человеческое бормотание, именуемое языком! Тарабарщина, которую понимает лишь отдельная кучка! Не

умнее ли оказываются бессловесные твари, никогда и не заикающиеся о подобных вещах? Неужели я вероломен? Если девушка продолжает меня любить и никогда не полюбит никого другого, она, значит, верна мне. А если я одного только и хочу — любить ее, я, значит, вероломен? Мы оба поступаем одинаково, но я почему-то числюсь обманщиком, хотя, обманывая, я только доказываю свою верность. Почему же девушка должна быть права, а я не прав? Почему, раз мы оба верны каждый по-своему, язык человеческий называет ее верной, а меня обманщиком?

Пусть восстанет на меня весь свет, пусть спорят со мною все схоластики, я все-таки прав. Этого у меня никто не отнимет, хотя и нет такого языка, на котором я бы мог доказать свою правоту. Я поступил правильно. Моя любовь не может выразить себя в браке. Если бы я пошел на это, я погубил бы девушку. Быть может, ее манила возможность счастья. Это не моя вина, я сам соблазнился мечтой о нем, но стоило бы мне попытаться воплотить мечту в действительность — все погибло бы, и тогда уже поздно спасаться и мне, и девушке. Действительность, в которой она могла бы выполнить свое предназначение, для меня лишь тень, бегущая рядом с собственной тенью, — действительностью моего духа, тень то смешная, то несносная, примешивающаяся к моей экзистенции. Кончилось бы тем, что я, желая общения с любимой девушкой, только бы ловил тень. Разве ее жизнь не оказалась бы тогда загубленной? Для меня девушка во всяком случае умерла, мало того, она и вправду могла бы пробудить во мне греховное желание ее смерти. Если б я таки уничтожил ее, то мгновенно превратил бы в облако и тем самым возродил в новой действительности, — в противном случае, конечно, сохранил бы ее в прежнем положении, даже если оно и ужасно. Итак?

Язык человеческий называет меня виновным, что я должен был предвидеть.

Что же это за сила, грозящая отнять у меня и честь, и гордость мою, да еще таким бессмысленным образом? Разве я брошен на произвол судьбы? Разве я обречен быть виновным, обманщиком, что бы ни сделал?.. Или, может, я сумасшедший? Тогда, пожалуй, вернее было бы запереть меня, так как трусость человеческая больше всего боится обличений безумцев и умирающих. Что означает быть безумцем? Что мне надо делать, чтобы пользоваться уважением сограждан, слыть разумным? Почему мне не отвечают? Я обещаю приличное вознаграждение тому, кто придумает новое слово! Я выдвинул альтернативу. Найдется ли умник, знающий больше двух противопоставлений? А раз он не знает, то ведь это бессмыслица, что я безумец, вероломный обманщик, а девушка верна, разумна и достойна уважения. Или мне поставят в вину, что я, выбрав первую из альтернатив, осуществлял ее так красиво, как только возможно? Я, напротив, скорее заслуживаю благодарности. Видя, как девушка радуется, чувствуя себя любимою, я включал себя самого и все, на что она указывала, в волшебный круг любви. В том ли моя вина, что я мог сделать? Или в том, что я сделал? Кто тут виноват, кроме самой девушки и еще кого-то третьего, неизвестно откуда взявшегося, наложившего на меня свою руку и перевернувшего во мне всю душу? То, что я сделал, восхваляется, когда это делают другие.

Или моя награда в том, что я стал поэтом? Попросил бы избавить меня от всяких наград, я требую своего права, то есть стою за свою честь. Я не просился в поэты и не хочу покупать этого превращения такой ценой!..

Или, если я виновен, я должен бы иметь возможность раскаяться в своей вине и загладить ее. Но пусть мне укажут как. Может быть, я обязан вдобавок каяться в том, что мир позволяет себе играть со мною, как дитя с майским жуком?

Или пожалуй, самое лучшее забыть все? Забыть... Но я перестану быть, если забуду! Однако, какая же это жизнь, если я, кроме возлюбленной, должен потерять и честь, и гордость, вдобавок потерять так, что никто не знает, как это случилось, и я вследствие этого лишен возможности когда-нибудь исправить дело. Что же, так и позволить выпроводить себя вон? Зачем же тогда меня впускали? Я ведь не просился!

Тому, кто сидит на хлебе и воде, все же лучше, чем мне. Предаваясь своим размышлениям, я, можно сказать, обрекаю себя на строжайшую диету и все-таки ощущаю сытость и удовлетворенность — и точно так же, будучи существом микрокосмического порядка, я веду себя соразмерно макроскосмосу.

Я не разговаривал с людьми, но, чтобы не порывать с ними и не морочить своими словами, я собрал целый ворох стихов, метких изречений, пословиц и поговорок, извлеченных из творений бессмертных греков и римлян, которыми восхищались все эпохи. В эту антологию я включил еще несколько превосходных цитат из "Поучений" епископа Балле, изданных Сиротским приютом. Теперь пусть мне зададут любой вопрос, — у меня на все готов ответ. Я цитирую классиков не хуже хольберговского пономаря, да еще имею про запас такие поучения Балле, как "достигнув даже вершины почета, не следует впадать в гордыню и высокомерие". Следовательно, я никого не обманываю. Много ли найдется людей, постоянно возвещающих истину или изрекающих умные вещи вроде "под сло-

вом мир разумеются вообще и небо, и земля со всем, что в них заключается".

Да что, в самом деле, если бы мне вздумалось сказать что-нибудь по-настоящему, — никто бы не понял меня! Моему горю и моим страданиям нет имени, как нет его у меня самого. Но несмотря на это я, быть может, сохранил некоторое значение для Вас и во всяком случае остаюсь

Вам преданным.

---

15 ноября.

Мой безответный поверенный!
Что если бы у меня не было Иова! Нельзя выразить, невозможно описать, какое влияние и разнообразное значение имеет он для меня. Я читаю Книгу Иова не так, как вообще читают книги, глазами; я читаю ее сердцем и понимаю с прозорливостью ясновидца отдельные места по-разному. Как ребенок, ложась спать, кладет учебник под подушку, чтобы не забыть выученного урока к следующему утру, так и я беру Книгу Иова с собой в постель на ночь. Каждое слово Иова питает, прикрывает, врачует мою измученную душу. Одно слово выводит меня из состояния летаргии, пробуждает душу для новых тревог, другое утишает бушующее во мне бесплодное неистовство, кладет конец ужасу немых судорог волнения.

Вы ведь читали Иова? Прочтите, перечитывайте вновь и вновь. Мне не хочется приводить Вам в письме никаких отрывков и переписывать все его слова.

Хотя каждая моя новая выписка на датском ли, на латыни ли, краткая или обширная, является для моего больного сердца целебным пластырем, наложенным самим Господом. На ком, как не на Иове, видна рука Божия! Но цитировать его я не могу. Это значило бы примешать к его лепте свою, присвоить его слова перед другим человеком. Когда я один, я делаю это, но при других... нет, я знаю, как подобает вести себя молодому человеку, когда говорят старшие.

Во всем Ветхом завете не найдется другого образа, к которому можно было подойти с таким человеческим доверием, прямодушием и упованием, как к Иову, — именно потому, что в нем все так человечно, потому, что он занимает положение на границе поэзии. Нигде в мире страстные порывы горя не нашли себе подобного выражения. Что Филоктет с его жалобами, которые все-таки тяготели к земле и не ужасали богов! Что самое положение Филоктета в сравнении с проникнутым идеей положением Иова!

Простите, что я так распространяюсь, но Вы ведь мой поверенный и вдобавок не можете отвечать. Узнай кто-нибудь другой о том, что происходит во мне, — я бы не нашел себе покоя. По ночам я велю зажигать свечи в своей спальне и оставлять освещенным весь дом, я встаю с постели и читаю громко вслух, почти выкрикиваю тот или другой отрывок из Иова. Или открываю окно и кричу его слова на весь мир. Если Иов вымышленное лицо, если никогда не существовало человека, который говорил так, то я присваиваю его слова и беру на себя ответственность. Большего я сделать не могу, ибо кто обладает таким красноречием, как Иов, кто может сказать лучше его?

Хотя я и перечитываю Книгу Иова вновь и вновь, каждое слово оказывается для меня новым. Каждый раз оно как будто встречается мне впервые или впер-

вые рождается в моей душе. Я, как пьяница, впиваю в себя опьянение страсти понемножку, пока не упьюсь допьяна, до беспамятства. С другой стороны, я спешу напиться, сгораю нетерпением напиться поскорее. Душа моя с полуслова понимает мысль Иова, стремительно проникает в нее, в каждый его порыв. Быстрее, чем брошенный лот падает на дно морское, быстрее, чем молния ударяется в громоотвод, душа моя устремляется в это свое убежище, чтобы закрепиться там.

Порою же я стихаю. Не читая, сижу с поникшей головой, сгорбленный, настоящая старая развалина, и созерцаю. Сам я кажусь себе тогда маленьким ребенком, который бродит по комнатам и роется в вещах или сидит в уголке и возится со своими игрушками. Странное чувство охватывает меня. Я не могу понять: что такое так страстно волнует взрослых, не могу понять, из-за чего они спорят, и все-таки не могу не прислушиваться. И вот, мне представляется, что это собрались злые люди, которые причинили Иову все его горе, что это его друзья сидят тут и глумятся над ним. Тогда я громко плачу, сердце мое сжимается от невыразимого страха за мир, за жизнь и людей.

Тут я прихожу в себя и опять начинаю читать книгу Иова вслух, всеми силами души, всем сердцем! И вдруг слова замирают у меня на устах, я ничего больше не слышу и не вижу, а лишь угадываю смутные очертания сидящего на куче пепла многострадального Иова и собравшихся около него друзей. Они молчат, но это безмолвие таит в себе все ужасы, как тайна, о которой никто не смеет заикнуться.

Вдруг тишина прерывается, измученная душа Иова изливается в мощных воплях. Я их понимаю. Я присваиваю эти слова. В ту же минуту я чувствую противоречие и усмехаюсь над самим собой, как улы-

баются шалости малого ребенка, который надел отцовскую одежду. Не смешно разве, если кто-нибудь другой скажет, подобно Иову: "О, если бы человек мог вступить в состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим!" В то же время страх охватывает меня, словно тот ужас, о котором я читаю, уже стережет меня, словно я навлекаю его на себя, — как болезнь, которой заболеваешь, читая о ней.

---

14 декабря.

Мой безответный поверенный!
Всему свое время. Горячка миновала. Я выздоравливаю.

Тайна Иова, его жизненная сила, нерв, идея его — в том, что Иов вопреки всему был прав. Опираясь на свою правоту, он и восстает против всех человеческих доводов; выдержка и сила доказывают его властную правоту. Всякое человеческое объяснение для него — лишь одно недоразумение, все его бедствие при его отношениях к Богу — нечто вроде софизма, которого он сам не в силах разрешить, но который, как он твердо уповает, будет разрешен Богом. Против Иова пущены в ход всякие *argumentum ad hominem* , но он твердо стоит на своем. Он утверждает, что в ладах с Богом, невинен и чист в душе, что и Бог того же мнения, — хотя бы все его существование доказывало противное.

В том и величие Иова, что страсть свободы у него ничем не заглушается и не умеряется никаким неверным истолкованием, как это часто случается при подобных обстоятельствах; по малодушию своему, из мелочного страха человек допускает, что страдает за свои грехи, хотя бы ему и не за что было страдать. Его душе не достает настойчивости и выдержки, чтобы продолжать стоять на своем, вопреки настойчивым опровержениям мира. Если человек полагает, что несчастье поразило его за грехи, то это может быть обусловлено и тем, что он в глубине души инстинктивно смотрит на Бога как на тирана. Человек бессмысленным образом выражает этот свой взгляд тем, что в ту же минуту подводит Бога под этические определения.

Иов не попал и под власть демонического. Иной человек, скажем, может согласиться признать правоту Бога, только если прежде всего признает правым самого себя. Он с готовностью будет выказывать свою любовь к Господу, даже когда Бог его искушает. Или заявит, что хотя Всевышний и не может ради него изменить мир, он будет великодушно продолжать любить Бога. Им движет чисто демоническая страсть, требующая отдельного психологического рассмотрения. Впрочем, демонизм или сразу насмешливо пресекает все споры, чтобы не поднимать лишнего шума, или же раздувается до самоуверенного превозношения собственной силы.

Иов твердо отстаивал свою правоту перед Богом. И делал это с благородным прямодушием, достойным того, кто знает себе цену, знает, что хотя человек и бренное создание, но в отношении свободы представляет нечто великое, обладает самосознанием, которого не может отнять у него и сам Господь Бог, давший ему это самосознание. При всем упорстве Иова ясно видны любовь и доверие к Богу — и уверенность в

том, что уж Бог-то может объяснить все, лишь бы удалось вызвать Его на беседу.

Друзья задали хлопот Иову. Борьба с ними была огнем чистилища, в котором прояснялась мысль Иова, проникнутая его правотой. Если бы он сам явил недостаток силы и фантазии, необходимых, чтобы тревожить свою совесть и ужасать душу, чтобы бояться за самого себя и подозревать в себе тайные грехи и проступки, — то друзья помогли бы ему явными намеками, оскорбительными обвинениями, которые, словно магические жезлы, могли вызвать на свет скрытое в сокровеннейших недрах души. Обрушившиеся на Иова беды были для друзей главным доказательством его греховности, и их было не переубедить. Елифаз, Вилдад, Софар и особенно Елиуй, встающий *integer*, когда другие уже устали, на все лады варьируют одну тему: бедствия Иова — кара Божия за его грехи, и он должен покаяться, попросить прощения у Бога, — тогда все опять будет хорошо.

Иову было от чего прийти в отчаяние, лишиться рассудка или обессилеть, совсем опуститься и сдаться на милость Карающего. Но нет, он твердо уперся! Его уверенность — своего рода паспорт, с которым он готов уйти от мира и людей, своего рода документ, аннулированный всеми, но дорогой и нужный ему, за который он крепко держится. Иов так же уверенно ищет сочувствия у друзей, взывает к состраданию ("Помилуйте меня, вы, друзья мои!"), упрекает ("Вы, сплетчики лжи!"). Тщетно! Скорбные вопли все усиливаются по мере того, как возражения и ответы заставляют его все больше и больше углубляться мыслью в свои страдания. Однако это не трогает друзей, да и не в страданиях Иова для них суть. Они готовы согласиться с тем, что он страдает и имеет основания

жаловаться, но требуют, чтобы он видел в этом заслуженную кару.

Чем же объяснить упорство Иова? Его правотой. Тем, что ниспосланные ему беды были не карой, а *испытанием*. Объяснение это, однако, создает новое затруднение, которое я пытаюсь разрешить вот каким образом. Философия трактует и разъясняет существование и в этом аспекте отношение человека к Богу. Какая же философия вместит отношение, определяемое словом "испытание"? Такой категории не существует вовсе с точки зрения бесконечного, она действительна только для самого индивидуума. Стало быть, нет и не может быть никакой такой философии. Затем: как узнать человеку, что выпавшее ему — испытание? Тот, кто вообще имеет представление о мышлении существования, а также о бытии сознания, легко поймет, что эти вещи не так-то скоро осуществляются, прекращаются или удерживаются, как заявляются. Сначала происходящее должно быть выделено из всеобщего, космического порядка и получить религиозное крещение, христианское имя, затем предстать перед судом этики, и тогда только может возникнуть выражение "испытание". До этого момента мышление не даст индивидууму полноты существования, до этого возможно любое объяснение, водовороту страстей дан полный простор. Только люди, лишенные достойного представления о жизни духа, быстро решают все эти вопросы, им хватает и получасового чтения, подобно тому, как многие философы-недоумки довольствуются скороспелыми результатами своего мышления.

Величие Иова не в том, что он сказал: "Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно имя Господне" (вдобавок сказал в самом начале и больше не повторял). А в том, что борьба из-за границ или пределов

веры была доведена до конца, что им явлен пример чудовищного бунта строптивых сил необузданной страсти.

Поэтому Иов не умиротворяет душу, подобно верующему подвижнику, но временно утоляет ее боль. Иов — полноценный человеческий вклад в великую тяжбу между Богом и человеком, в обширный и ужасный процесс, основанный на том, что все является испытанием.

Испытание не эстетическая, не этическая и не догматическая категория, она вполне трансцендентна. Впрочем, теоретически, как застывшее понятие, она принадлежит догматике, из-за чего само испытание лишается гибкости и собственно категория меняется. Испытание абсолютно трансцендентно и погружает человека в чисто личное противостояние с Богом, в такое положение, которое не позволяет довольствоваться каким-либо объяснением из вторых рук.

То обстоятельство, что найдется немало людей, готовых хвататься за категорию испытания по всякому поводу, — стоит, например, подгореть каше — доказывает лишь, что они не осознают смысла этой категории. Человек, обладающий развитым миропониманием, не скоро доходит до него, так как движется длинным, окольным путем. Так шел Иов, доказавший широту своего мировоззрения тою непоколебимостью, с какою он сумел избежать всех хитрых увертoк и подходов этики. Иов — не подвижник веры, он основатель категории испытания, родивший ее в страшных муках, — именно потому, что был так развит, что не мог воспринять ее с детской непосредственностью.

Я ясно вижу, что с помощью этой категории можно попытаться вычеркнуть и упразднить всякую действительность, подведя ее под определение "испытание" по отношению к вечности. Но я не боюсь этого. Раз ис-

пытание категория *временная*, то она *eo ipso* принципиально относится не к вечности, а ко времени и должна разрешаться в его пределах.

Вот к чему я пришел теперь, и раз я уже посвятил Вас во все, то адресую Вам и это письмо, которое пишу для себя самого. От Вас, Вы знаете, я ничего не требую, кроме позволения оставаться

Вам преданным.

---

13 января.

Мой безответный поверенный!

Буря улеглась, гроза пронеслась, Иов получил урок перед лицом человечества: Бог с Иовом сговорились, примирились, и милость Господня снова почила в шатре Иова. Люди также поняли его, снова стали приходить к нему, есть и пить с ним, сожалеть и утешать его, а братья и сестры дарить каждый день по монете и золотому кольцу. Иов был благословен от Бога, и все было возмещено ему *вдвойне*. Это и называется *повторением*.

Как благодетельна гроза! Какое, должно быть, блаженство получить урок от самого Бога! Вообще-то человек легко ожесточается от внушений и выговоров; когда же учит сам Бог, он забывает о себе, забывает всякую боль, отдавшись той любви, которая хочет воспитать его.

Кто бы ожидал такого конца? Но никакой другой немыслим, да и не конец это, когда все застывает на одной точке, мысль замирает, язык немеет, объяснение

с отчаянием возвращается вспять, — нет, нужна гроза. Кто в состоянии понять это? И в то же время кто может придумать что-либо другое?

Так Иов оказался неправым? Да! Навеки. Ибо нет судилища выше того, которое осудило его. Оправдан ли Иов? Да! Навеки. В силу того, что оказался неправ *перед Богом*.

Следовательно, существует повторение. Когда же оно наступает? Да, это нелегко определить, пользуясь человеческим языком. Когда наступило оно для Иова? Когда по человеческому рассуждению ничто не могло быть несбыточнее. Иов мало-помалу лишался всего: действительность вместо того, чтобы смягчаться, выдвигала против него все более и более строгие обвинения, — исчезала надежда. Попросту говоря, все было потеряно. Друзья, особенно один, Вилдад, видели единственный выход: Иов смирением перед карой должен купить себе право надеяться на повторение, вплоть до возвращения богатств. Иов не захотел. Тут-то и завязался узел, который мог быть разрублен только ударом грома.

Для меня лично в этом повествовании много невыразимо утешительного. Разве не счастье, что я не последовал Вашему хваленому остроумному плану? Может быть, рассуждая по-человечески, это трусость с моей стороны, но зато, быть может, провидению тем легче будет прийти мне на помощь.

Вот только почему я не попросил девушку вернуть мне свободу? Я убежден, что она бы согласилась. На что только ни способно девичье великодушие! И все же я не могу сожалеть о том, что сделал по-своему. Я знаю: я поступил так именно потому, что был о ней слишком высокого мнения.

Но если бы у меня не было Иова!.. Больше ничего не скажу, дабы не надоесть Вам своим вечным припевом.

Ваш преданный.

---

17 февраля.

Мой безответный поверенный!

Вот я и сел крепко. До обнаружения невиновности, как говорится среди заключенных, или до высочайшего помилования? Не знаю. Одно я знаю, что сижу и не сдвинусь с места *suspenso gradu* целый месяц.

Я жду удара грома — и повторения. Но даже если бы только грянул гром, я и тому был бы невыразимо рад, — пусть даже приговор гласил бы, что повторение невозможно.

Чего я жду от этого громового удара? Он должен сделать меня способным к браку. Пусть он раздавит мою личность, я готов; пусть сделает меня почти неузнаваемым для меня самого, я не колеблюсь, хоть и держусь на одной ноге. Моя честь будет спасена, моя гордость тоже. И как бы это ни пересоздало меня, я все же надеюсь, что воспоминание останется для меня неиссякаемым источником утешения даже тогда, когда совершится то, чего я в известном смысле страшусь больше самоубийства, что в полной мере перевернет во мне все. Если же гром не грянет, я стану притворщиком; я не умру по-настоящему, а только прикинусь умершим, чтобы родные и друзья похоронили меня. В гроб же я захвачу с собой украдкой свое ожидание.

Никто не узнает об этом, не то люди, конечно, поостерегутся хоронить человека, в котором еще теплится жизнь.

Я жду, но кроме того делаю все от меня зависящее, чтобы пересоздать себя для брачной жизни. Я сижу и подравниваю свою личность по шаблону, удаляю все лишнее, несоразмерное. Каждое утро я отбрасываю всякое нетерпение и бесконечное устремление моей души вперед. Толку, однако, мало, минуту спустя эти мои свойства снова дают себя знать. Каждое утро я подстригаю бороду всем моим чудачествам, но на другое утро борода снова отрастает. Я кассирую самого себя, как государственный банк кассирует старые ассигнации, чтобы выпустить новые. Но у меня ничего не выходит. Я разменяваю весь свой идейный капитал, все первородное богатство мыслей на мелкую монету брачной жизни, — увы и ах! — но в этой валюте богатство мое тает почти без остатка.

Однако я буду краток, мое положение не позволяет тратить много слов.

Преданный Вам.

Хотя я давным-давно отрекся от мира и от всяких теорий, не могу не сознаться, что этот молодой человек опять несколько вывел меня из равновесия, возбудив усиленный интерес к своей особе. Нетрудно ведь было прийти к заключению, что он находится в полном заблуждении. Он страдал неуместным великодушием меланхолика, свойственным лишь сердцу поэта. Он

ждал удара грома, который превратил бы его в существо, способное к браку, ждал, может быть, нервного удара. Именно этого и не следовало бы ему делать. Но он был из числа людей, которые командуют, чтобы весь батальон взял налево кругом вместо того, чтобы повернуть самому. В данном случае требовалось просто убрать с его дороги девушку. И не будь я стар для этого, я бы с удовольствием сам ею занялся, только бы помочь бедняге.

Он рад, что не последовал моему "хитроумному" плану! Это похоже на него. Но как он сам до сих пор не понял, что это был единственно верный план? Решительно невозможно иметь дело с таким человеком, и очень кстати, что он не желает утруждать меня ответами. Было бы просто смешно вести переписку с человеком, у которого на руках такой козырь, как громовой удар. О, обладай он моим умом!.. Этим все сказано. Если бы произошло то, на что он рассчитывает, и он приписал бы это вмешательству свыше — его дело, я ничего не имел бы возразить. Но никогда не мешает сначала попытаться обойтись собственными средствами, пустить в дело все, что в силах изобрести ум человеческий. Будь я на его месте, я бы сумел лучше помочь девушке. Теперь, пожалуй, ей будет куда труднее забыть его. Ей не дали покричать — вот беда. Крик нужен, он облегчает, как кровопускание при контузии. Надо дать девушке накричаться. Тогда она забывает свое горе.

Он не последовал моему совету. Вот она, пожалуй, и чахнет теперь с горя. Для него самого это, конечно, крайне фатально. Я лично никого бы так не страшился, как девушки, которая вздумала бы доказать свою любовь и верность, зачахнув с горя. Она была бы для меня страшнее, чем тиран для свободолюбцев; я бы ежеминутно чувствовал ее, как ноющий зуб. Она

страшила бы меня именно своим приближением к идеалу, а я слишком дорожу собою, чтобы дать кому-нибудь превзойти меня глубиною и силою чувства. Она вознесется на вершину идеала, но тогда моя жизнь наверняка остановится *in pausa*. Возможно, нашелся бы человек, который не снес вынужденного восхищения ею и из зависти к ней пошел на все, чтобы только сломить ее верность, т.е. заставить выйти замуж за другого.

И если бы она после этого сказала своему первому возлюбленному, как это часто и говорится, и пишется, и печатается, и читается, и забывается, и опять повторяется: "Я любила тебя, теперь я сознаюсь в этом (да, *теперь*, хотя она, конечно, говорила это сто раз и прежде!), любила больше самого Бога" (сказано довольно сильно, хотя и не слишком для нашего богобоязненного века, когда истинный страх Божий все еще достаточно редкое явление), если бы она сказала это, то, пожалуй, не смутила б его. Идеал ведь не в том, чтобы умереть с горя, но в том, чтобы, сохранив свое здоровье и по возможности свою жизнерадостность, сохранить и свое чувство. Жениться на другой или выйти замуж за другого — не подвиг. Это слабость, простая, тривиальная шутка, которой могут восхищаться одни профаны. Всякий человек с художественным взглядом на жизнь сразу видит: тот, кто способен на это, страдает недостатком, которого не исправить даже семикратным вступлением в брак.

И напрасно он также жалеет, что не попросил девушку вернуть ему свободу. Пользы от этого не было бы. Скорее, напротив, он восстановил бы ее против себя; ведь просить молодую особу вернуть тебе свободу совсем не то, что отделаться от нее под любезным предлогом, будто она являлась для тебя только музой. Таким образом, опять видно, что он — поэт! Поэт

положительно как бы создан оставаться в дураках у девушек. Если даже девушка насмеется над ним без всякого зазрения совести, он способен принять это за великодушие с ее стороны.

Счастье поэтому, что он не пустился в рекомендованную мною игру. Девушка в таком случае наверно взялась бы за дело посерьезнее, попыталась бы использовать не одну краткую табличку любви, что вполне законно и на что она имела полное право, — но большую таблицу брака. Она притянула бы в сваты самого Господа Бога, призвала бы на помощь все святое, использовала бы самые заветные чувства и воспоминания возлюбленного. В этом отношении многие девушки не церемонятся прибегать к обману, которого не позволит себе ни один обольститель. Кто в любовных делах пользуется помощью Божией, хочет оказаться любимым во имя Божие, тот перестает быть самим собою и стремится стать сильнее неба, важнее спасения души другого человека.

И вдруг бы девушка принялась обрабатывать моего юного друга таким образом?! Пожалуй, он уж никогда не забыл бы этого, не в силах стряхнуть с себя впечатлений, так как, наверное, по-рыцарски отверг-нул бы мои советы и принял каждое слово девушки за чистую монету. И вдруг бы впоследствии оказалось, что все это было преувеличением, лирическою импровизацией, чувствительным дивертисментом!.. Что ж, вера в женское великодушие и тут, пожалуй, помогла бы ему!

Юный друг мой — поэт, а поэтам свойственна такая мечтательная вера в женщину. Я же, с позволения сказать, прозаик. Насчет женщин у меня свое мнение, вернее, впрочем, никакого, так как мне весьма редко приходилось встречать особу женского пола, жизнь которой можно было бы подвести под ту или

иную категорию. Чаще всего девушкам недостает последовательности, необходимой для того, чтобы можно было восхищаться человеком или презирать его. Женщина прежде всего обманывает самое себя, а потом уже кого-нибудь другого, — ну так где же найти для нее мерило?..

Сейчас моему юному другу надо быть осмотрительнее. Сам я мало верю в удар грома, которого он так жаждет, а потому теперь для него было бы самое время прислушиваться к моим советам. Его любовью управляла идея, этим он и заинтересовал меня, и предложенный мною план опирался на идею как на некий принцип. Ведь идея — самая надежная вещь на свете. Попытаться обмануть человека, который придерживается этого взгляда, значит неминуемо остаться в дураках. В случае молодого человека идея была налицо, она, как мне кажется, и налагала на него обязательства по отношению к возлюбленной и к самому себе. Если бы и девушка жила, следуя лишь идее, что не требует никаких особых талантов, только серьезности, она, оказавшись покинутой, сказала бы самой себе примерно следующее: "Мне больше ничего от него не нужно, и не важно, обманывал он меня или нет, вернется ко мне или нет, важна только идеальность моей любви, и я сохраню ее честь и достоинство". Случись так, положение моего друга стало бы крайне мучительно, боль утраты не отпускала б его. Однако же кто откажется от такого жребия — на вершине страдания испытывать радость и восхищение от возлюбленной? При расставании его жизнь бы застыла, и ее тоже, но застыла бы, подобно речному потоку, зачарованному звуками музыки... Если же она не сумела довериться идее как регулирующему принципу своей жизни, это означает только, что его страдания никак ее не задели.

31 мая.

Мой безответный поверенный!

Она вышла замуж! За кого, не знаю. Когда я прочел о самом факте, меня словно хватил удар, и я выронил газету из рук. После же у меня не хватило терпения разыскивать подробности.

Я снова стал самим собою, вот и повторение. Я все понимаю, и существование видится мне прекраснее, чем когда-либо. Это действительно налетело, как гроза, хотя случившимся я обязан ее великодушию. Кого бы она ни избрала, не скажу даже предпочла, — так как в качестве мужа любой предпочтительнее меня, — она была милосердна ко мне. Будь он даже красивейшим мужчиной в мире, воплощением любезности, способным очаровать любую девушку, и повергни она весь остальной женский пол в отчаяние своим согласием стать его женой, она все же проявила великодушие ко мне, — если ничем другим, то хоть тем, что совершенно обо мне забыла.

Что может быть прекраснее женского великодушия? Пусть земная краса женщины увянет, пусть померкнет блеск очей, стройный стан сгорбится с годами, локоны утратят свои чары, спрятавшись под скромным чепчиком, пусть царственный взгляд, повелевавший миром, обнимает и лелеет с материнской нежностью лишь маленький кружок, поступивший под ее покровительство, — девушка, проявившая такое великодушие, никогда не состарится. Да вознаградит ее жизнь, да пошлет ей исполнение самых заветных

желаний, — как она исполнила самое заветное мое желание, великодушно подарив мне мое "я".

Я снова стал самим собою. Мое "я", которое не нужно никому другому, снова стало только моим. Внутренний разлад кончился, я снова обрел сам себя. Страхи, что поддерживались и питались гордостью, больше не раздирают мне душу.

Разве же это не повторение? Разве мне не отдано все снова, да еще в двойном размере? Не возвращена ли мне моя самость, — и вдобавок таким образом, что я должен вдвойне почувствовать ее значение? И что там возвращение земных благ, не служащих задачам духа, в сравнении с таким повторением? Только детей своих Иов не обрел в двойном числе, так как жизнь человеческая не поддается сему умножению. Тут возможно лишь духовное повторение, хотя оно никогда не может быть столь совершенным во времени, как в вечности, которая одна и является истинным повторением.

Я снова стал самим собою, машина пущена в ход, тягостные чары развеяны, снято заклятие, мешавшее очнуться. Никто больше не властен надо мной, мое освобождение непреложно, я родил самого себя! Ведь пока Илифия не разожмет пальцы, никому не разрешиться от бремени.

Кончено, челн мой спущен, еще минута, и я снова буду там, куда стремилась душа, там, где со стихийною силою кипят идеи, где мятутся мысли, подобно народам во времена великого переселения и где в иное время царит тишина, глубокая, как тишина Южного моря, такая тишина, что слышишь самого себя, хотя бы слова и не выходили из недр души, где ежеминутно ставишь свою жизнь на карту, ежеминутно теряешь ее и вновь обретаешь.

Я принадлежу идее. Она манит меня, и я следую за нею, она обещает свидание, и я жду ее дни и ночи, — никто не зовет меня к обеду, никто не ждет с ужином. Заслышав зов идеи, я бросаю все, или, вернее, мне нечего бросать, некому изменять, я никого не огорчаю своею верностью идее, и сам не испытываю огорчения, причиняя огорчение кому-нибудь. Когда я возвращаюсь домой, никто ничего не старается прочесть по моему лицу, никто не выпытывает у меня, не вырывает объяснений, которых я не мог бы дать добровольно, никто не добивается узнать, счастлив я или нет, радостен или удручен, обрел жизнь или утратил.

К устам моим вновь поднесена упоительная чаша жизни: я уже вдыхаю ее аромат, внимаю ее пенистой музыке... Но сначала надо совершить возлияние в честь той, что спасла мою душу, ввергнутую в отчаяние. Слава женскому великодушию!.. И да здравствует полет мысли, да здравствуют смертельные опасности на службе идее, да здравствуют превратности борьбы, ликование победы, пляски в вихре бесконечности!.. Да здравствуют размахи волн, то погружающие меня в бездну, то возносящие к звездам!..

Его высокородию,
г-ну NN,
настоящему читателю
этой книги

Копенгаген, август 1843 г.

Дорогой читатель!

Извини, что я обращаюсь к тебе так запросто, но это ведь останется между нами. Будучи воображаемой личностью, ты отнюдь не представляешься мне во множественном числе, но именно в виде единицы, так что все-таки нас двое — ты да я.

Если правда, что каждый, кто берется за книгу по какому-нибудь случайному побуждению, не зависящему от самой книги, — является ненастоящим читателем, то, пожалуй, настоящих читателей останется немного даже у тех писателей, кто имеет обширную аудиторию. Ведь кому же в наше время придет в голову потратить минуту на курьезную мысль, что быть хорошим читателем — искусство, не говоря уж о более продолжительном времени, чтобы стать таковым? Сие прискорбное положение вещей, разумеется, не может не влиять на писателей, поэтому для них всего правильнее, по примеру Климента Александрийского, писать так, чтобы еретики их не понимали.

Любопытная читательница, которая заглядывает на последние страницы каждого попавшегося ей в руки романа, желая узнать, соединились ли любящие сердца, будет разочарована развязкой этой книги: хотя два любящих сердца соединились и в данном случае, мой-то юный друг все-таки остался одиноким. И так как причину этого трудно усмотреть в ничтожной случайности, дело приобретает достаточно серьезный оборот в глазах всех созревших для брака и бредящих свадьбой девиц, которые с выбытием из числа кандидатов в женихи хоть единого мужчины теряют некоторый шанс.

Озабоченный отец семейства, пожалуй, испугается — как бы его сын не пошел по той же дороге, на какую свернул мой юный приятель, — а потому найдет, что книга моя не оставляет гармонического впечатления, раз не похожа на готовый мундир, приходящийся впору любому мушкетеру.

Будущий гений найдет, пожалуй, что "исключительная личность" в данном случае чересчур осложнила свою задачу, взглянув на дело слишком серьезно.

Добродушный друг дома будет тщетно искать прославления пошлостей гостиных и увековечения болтовни за чашкой чаю.

Дюжему поклоннику реализма, пожалуй, покажется, что весь шум поднят из-за ничего и все дело не стоит выеденного яйца.

Опытная матрона, охотница сватать, скажет, что книга моя неудачна, так как интереснее всего изображать такую девушку, которая могла бы "осчастливить подобного человека". Что такие девушки существовали, она вполне уверена, сама себя убеждая в этом наиприятнейшим для самой же себя образом.

Его преподобие констатирует, что в книге моей слишком много философии. Умственный взор его преподобия тщетно ищет того, в чем особенно нуждается в наше время паства, — спекуляции.

Дорогой читатель! Отчего бы нам не потолковать обо всем этом между собою? Ты ведь понимаешь, я отнюдь не жду, чтобы приведенные выше мнения были высказаны в действительности: я знаю, что книга моя найдет себе немного читателей.

Обычному рецензенту она даст, пожалуй, желанный случай подробно выяснить, что это не комедия, не трагедия, не роман, не эпос, не эпиграмма и не повесть. И заодно забраковать — по той причине, что прочесть ее не столь легко, как сосчитать до трех.

Такой рецензент с трудом поймет самый ход событий, ибо он изложен в обратном порядке. Едва ли придется ему по вкусу и цель книги. Рецензенты вообще объясняют существование так, что сразу исчезает и общее, и частное. Да это и слишком, пожалуй, — требовать от обычного рецензента интереса к диалектическому состязанию, к долгой и весьма сложной процедуре выделения исключений из всеобщего, к борьбе, в которой исключение отстаивает свои права на существование. Необоснованное исключение тем и выдает себя, что попросту обходит всеобщее и не сражается с ним. Сама же борьба носит сугубо диалектический характер и бесконечно богата оттенками, что возможно только при соблюдении абсолютной точности в развертывании диалектики всеобщего и быстроты имитации движения, одним словом, вести ее столь же трудно, как убить человека и одновременно оставить в живых.

На одной стороне — исключение, на другой — общее, и сама борьба — странный конфликт между нетерпеливым гневом общего на кутерьму, затеянную исключением, и между влюбленным пристрастием общего к исключению. Ведь общее в результате так же радуется исключению, как небо раскаявшемуся грешнику, предпочитая его 99 праведникам. С другой стороны борются между собою упорство и настойчивость исключения с его же слабостью и хрупкостью. В итоге получается состязание общего с исключением, своего рода единоборство, в котором исключение обретает силу и крепость. Если исключение не может выдержать испытания, общее не помогает ему, как и небо грешнику, который не в состоянии выдержать мук раскаяния. Но энергичное и цельное исключение, которое, несмотря на его борьбу с общим, является

его же отпрыском, — такое исключение отстаивает себя, утверждается.

Соотношение таково: исключение имеет в виду общее; в то время как продумывает себя самое, воздействует и на общее, и на себя, проясняет общее, проясняя самое себя. Иными словами, исключение выясняет и общее, и самое себя. поэтому если хотят основательно изучить общее, стоит только поискать хорошо обоснованное исключение. оно продемонстрирует все яснее. чем само общее. Обоснованное исключение согласовано с общим; общее в основе своей настроено полемически по отношению к исключению. пытается не выказать своего пристрастия прежде, чем исключение как бы вынудит его признаться в этом. Если же исключение не обладает такой силой. оно не имеет законного основания существовать, и поэтому со стороны общего весьма разумно до поры до времени не давать заметить своего пристрастия. Ведь поначалу грешник не знает, что небу он дороже, чем 99 праведников; напротив, он чувствует только гнев небесный. пока, наконец, своим раскаянием не заставляет небо признаться ему в любви.

Бесконечная болтовня о значении общего приедается до тошноты. превращаясь в избитую пошлость. Исключения существуют; но если нельзя объяснить их, то как же объяснить общее? Связанного с этим затруднения обычно не замечают. так как рассуждения людские по поводу общего вообще лишены всякой страсти и глубины, до крайности безразличны и поверхностны. Исключение же продумывает общее со страстной энергией.

При таком распределении ролей создается новая табель о рангах. и бедное исключение, если оно вообще годно на что-нибудь, снова удостаивается чести и

славы, как обделенная, обиженная падчерица из сказки.

Подобным исключением является поэт, олицетворяющий переход от толпы к истинным аристократам духа, к исключениям в строго религиозном смысле. Поэт вообще исключение. И поскольку поэт (и его творения) часто доставляют немало радости, то мне и пришло в голову, что не мешало бы показать как, при каких условиях он возникает. Ведь молодой человек, которого я здесь явил, — поэт. Большего я не в силах сделать: представить себе поэта и нарисовать его — вот все, что я могу. Стать же самому поэтом я не в силах, мои интересы лежат в другой области. Задача занимала меня в чисто эстетическом и психологическом смысле. Я заставил себя принять участие в деле, но если ты, дорогой читатель, присмотришься поближе, то без труда увидишь, что я лишь услужливый дух и далеко не равнодушен к молодому человеку, хотя он и опасался этого. С его стороны это было недоразумением, которому я намеренно попустительствовал, чтобы заставить героя проявиться возможно ярче, выразительнее. Все было у меня рассчитано на то, чтобы осветить его; я постоянно имел его *in mente,* каждое слово мое было или чревовещанием или прямой речью, обращенной к молодому человеку. Даже там, где я как будто просто забавляюсь или шучу, я не упускаю его из виду, и там, где у меня одна грусть и меланхолия, кроется намек на него, на его духовное состояние.

Поэтому в моем изложении преобладает чисто лирический элемент и все, что я говорю, имеет замаскированное отношение к молодому человеку — или сказано для того, чтобы лучше понять его. Таким образом, я сделал для него все, что мог, тогда как

теперь, дорогой читатель, я, изменившись, стараюсь послужить тебе.

Бытие поэта как поэта начинается с его борьбы с целым миром, ему необходимо найти покой или оправдание. И в этой первой борьбе он вначале всегда проигрывает, а если захочет немедленно победить, то не найдет оправдания. Мой поэт находит его, получая от существования как бы отпущение грехов, — как раз тогда, когда он уже готов уничтожить себя самого. И тут душа его настраивается на религиозный лад. Это главным образом и поддерживает поэта, хотя никогда вполне не прорывается наружу. Пример — его радостные дифирамбы в последнем письме. Радость эта несомненно имеет религиозную подоплеку, зиждется на религиозном настроении, которое, однако, так и останется лишь внутренним настроем. Мой поэт хранит это настроение в себе, носит его в душе, как заветную тайну, которую не может раскрыть; между тем тайна помогает ему поэтически освоить действительность. Он истолковывает общее как повторение, сам же, однако, понимает повторение иначе: в то время как действительность преображается в повторении, его собственное, удвоенное, сознание становится повторением. У него было то, что необходимо поэту, — была влюбленность, но влюбленность двойственная — счастливая и несчастная, комическая и трагическая. По отношению к девушке его положение могло стать смешным; раз в любви героя преобладало чувство сострадания, значит и его боль преимущественно вызывалась тем, что возлюбленная страдает. Ошибись он насчет этого, его отношение к девушке стало бы совсем комичным.

Когда же он вглядывался в себя и в собственное положение, оно принимало трагический характер, — так же, как и тогда, когда он принимался воображать

свою возлюбленную. Весь его роман прошел под знаком идеализации, он мог придать своей любви какое угодно выражение, — но оно всегда диктовалось настроением, ведь у него не было фактов. Разве что факты сознания, но даже их недоставало, имелась одна лишь диалектическая гибкость, наделяющая его настроения реальной силой. В то время как продуктивность настроений служила герою связью с внешним миром, его все увереннее вело какое-то невыразимое религиозное чувство. Так, судя по некоторым ранним письмам, мне казалось, что история молодого человека почти приблизилась к религиозной развязке, но потом обнаруживалось: в минуты отстранения он вновь становился самим собой, точнее, делался поэтом, — и религиозное чувство затаивалось, уходило глубоко внутрь, превращаясь в скрытое основание.

Обладай мой герой более глубокой религиозностью, он бы не стал поэтом. Все получило бы для него тогда иной смысл. То, что с ним произошло, по-прежнему сохраняло свое значение, но бесчестье исходило бы от высшей силы, то есть авторитета совершенно иного порядка, — даже если бы все это обернулось для героя более жестокими страданиями. Но он бы тогда действовал совершенно иначе, с железной последовательностью и стойкостью, — и обрел бы "факт сознания", которого постоянно придерживался и который никогда бы не стал для него двусмысленностью, но всегда лишь чистой серьезностью, поскольку был установлен отношением его с Богом. В то же мгновение молодой человек оказался бы абсолютно безразличен к страданию, да и к самой действительности в целом. Все ужасные последствия такого равнодушия исчерпались бы самим актом веры. Мир бы изменился, он — нет; будь ему уготовано худшее, сильнее его уже не испугать. Тогда бы он со страхом и трепетом, но и с

верой и убежденностью понял, что же на самом деле он совершил и что в сущности за этим последовало, и в чем состоял его долг, верность которому вынуждала его вести себя столь странно. Для молодого человека как для поэта, напротив, особенно характерно, что ему никогда не удастся до конца осознать, что, собственно, он сделал. Не удастся именно потому, что ему и хочется видеть это в чем-то внешнем, видимом, и одновременно не хочется. Религиозный же человек сосредоточивается в самом себе и пренебрегает всеми ребячествами действительности.

Дорогой читатель! Ты поймешь теперь, что важен именно мой юный герой, я же просто эпизодическое лицо, некая родильница, которая производит на свет ребенка. Я родил своего героя и говорил за него, просто будучи постарше. Моя личность — предпосылка сознания, необходимая, чтобы он вообще мог появиться. Но я никогда бы не сумел прийти к тому, к чему приходит он в своей простоте. Про героя можно сказать, что он с самого начала был в хороших руках, хотя мне и приходилось частенько его поддразнивать, чтобы он обнаруживал себя отчетливее. Я сразу распознал в нем поэта, хотя бы потому, что история, — незначительная, случись она с другим, для молодого человека превратилась в мировое событие.

Так вот, хотя я часто веду здесь речь от своего лица, ты, дорогой читатель (я называю тебя "дорогим", ибо ты чувствуешь, понимаешь мои внутренние, душевные движения и импульсы), всегда и везде будешь читать о нем. Ты поймешь все извивы этой книги, и, если иной раз на тебя внезапно обрушится поток настроений, порождая недоумение, ты все-таки скоро увидишь, как все приноровлено одно к другому и плотно сплетено. Вместе с тем каждое отдельное настроение передано довольно точно, и это важнее всего,

так как лирический элемент имеет здесь большое значение. Иногда тебя, пожалуй, может шокировать какая-нибудь праздная на первый взгляд острота или упрямый задор, но, в конце концов ты, пожалуй, примиришься и с этим.

Преданный тебе

Константин Константиций.

КОММЕНТАРИИ

1841 год для двадцативосьмилетнего Серена Керкегора был отмечен двумя событиями: удачной защитой магистерской диссертации О ПОНЯТИИ ИРОНИИ (29 сентября), принесшей ему известность, и окончательным, после двухмесячного мучительного промедления, разрывом с невестой (11 октября), помолвка с которой длилась одиннадцать месяцев. До сих пор окутано тайной, что именно принудило его покинуть горячо любимую Регину Ольсен. От скандала, поднятого семьей статского советника Ольсена, Керкегор укрылся в Берлине.

Итогом его пребывания за границей стала посвященная Регине книга ИЛИ — ИЛИ, которая была окончена в марте 1842 г. и опубликована в феврале 1843. А в апреле, повстречав Регину на Пасху в церкви и не находя себе места от ее дружески обнадеживающего кивка, Керкегор вновь сбежал в Берлин. Ответом на этот тайный для него знак явилось ПОВТОРЕНИЕ (GJENTAGELSEN), написанное за два с небольшим месяца, а также ТРИ НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ РЕЧИ, набросок трактата СТРАХ И ТРЕПЕТ и повести 'ВИНОВЕН?', — 'НЕ ВИНОВЕН?'; первые три произведения вышли в свет в один день, 16 октября.

ПОВТОРЕНИЕ, как и подобает ответу, было выговорено (Керкегор, прежде чем записать фразу, пробовал ее на слух) на одном дыхании, даже с некоторой поспешностью: это единственная книга, в которой он, прежде чем отослать в типографию, сделал минимальные исправления, как будто боялся чего-то не успеть. Но случилось так, что он опоздал. Символический финал повести, оканчивающейся самоубийством (исчезновением?) главного героя, был в одночасье переписан, как только Керкегор получил известие о новой помолвке Регины Ольсен (в июле 1843 г.).

ПОВТОРЕНИЕ родилось в порыве ответного знака, причем повторного — первым было ИЛИ — ИЛИ. Автор и на этот раз не был уверен, что ему удастся чего-то достичь, доказать, осуществить: еще "заканчивая первую часть книжки, я отчаивался в возможности повторения" (ЗАПИСКИ, IV B 111, S. 271). Какого повторения? — возобновления (тоже по-датски 'Gjentagelse') им же самим прерванных отношений? Позже, в 1850 г., он признавался: "Reduplikation af mit Forhold til Hende er paa en Maade mit eget Guds-Forhold" (Pap. X 1A, S. 648) — "Повторение истории моих отношений с нею осуществлялось по способу развития моего отношения к Богу"; не случайно Константин Констанций, от чьего имени пишется повесть, прославляя повторение, отдает должное и надежде — философской категории возможности: в заклинании "Для Бога все возможно!", повторяемом бессчетное число раз, молодой человек, alter ego Константина Констанция, искал и, как ему казалось, находил пути выхода, спасения. Однако пока создавалась повесть, они не были открыты для Керкегора: "Мой грех в том, что у меня нет веры, веры в то, что для Бога все возможно. И где пролегает граница между верой и искушением Господа?" — писал он своему другу Эмилю Боэсену из Берлина.

На первый взгляд "религиозная тема" кажется в повести о любви почти случайной и, с точки зрения сюжета, не разрешается ничем позитивным, скорее наоборот — обращение к Иову не совершило для молодого человека чуда, девушка вышла замуж за другого, а реакция юного героя: "Существование видится мне прекраснее, чем когда-либо" звучит скорее как неудачная шутка[1]. Но убеждение Тертуллиана — "Anima humana naturaliter Christiana est" разделялось Керкегором с самого начала, и если так, если "жизнь всякого человека замыслена религиозно" (ПОНЯТИЕ

---

[1] Ирония в ПОВТОРЕНИИ — тема нескольких исследований.

СТРАХА, 1844), то правомерно, что этот замысел приоткрывается в повести как бы между прочим, подобно свету надежды *дорасти* до повторения, — тогда как вся книга наполнена вещами, в повседневности гораздо ближе к человеку расположенными: жаждой впечатлений, удовольствием от смешного или от прекрасного, любовными переживаниями, отчаянием, скукой, ужасом и тоской — и давно освоенными литературой. Этот второй, скрытый план сделался возможен благодаря тому, что в небольшой повести, предназначенной автором для "своего единственного читателя", нашлось место для темы широкой, но любовью заостренной, — темы существования, причем не "existentia" Спинозы или "Dasein" Гегеля, а его, автора, существования, смысл которого любовь — благословленная тем самым замыслом — и поставила под вопрос. Вопрос о Боге и вопрос о своем существовании Керкегор увидел как тождественные.

Опрометчиво ставя перед собой определенную задачу, касающуюся своей жизни, и надеясь решить ее посредством художественного произведения, чьи цели всегда оказываются несоизмеримо шире намерений его создателя, Керкегор был должен по его признанию, "с мудростью змия" — сочетать возможности письма и возможности экзистенциально мыслящей личности. Он был уверен, что не добьется своего, делая ставку исключительно на воспоминание (несомненно, одно из самых сильных эстетических переживаний, всегда готовое дать слово человеческой памяти и потому столь плодотворное для писательства), нет, Керкегору даже поэтически-осмысляющее воспроизведение пережитого показалось недопустимо простодушным поступком, бьющим мимо цели. Собственно воспоминание, непоправимая дань прошлому, представлялось ему источником не примирения, но, напротив, раздора между собой — неврастеничным молодым человеком, когда-то пережившим трагедию несчастной любви, и собой — писателем, ныне прозревающим смысл случившегося и потому обреченным на позу наивного пре-

восходства над прошлым, — но по сути бессильным перед лицом настоящего, перед временем. Константин Константин предвидел, а Керкегор проецировал в прошлое, что молодой человек (называемый поэтом все же очень условно) падет жертвой воспоминания: его чрезмерно экзальтированная личность, до времени ухватившая высокий смысл случившегося в иллюзии романтического вознесения над жизнью и "охвата существования в целом", сама искажала настоящее, не давая состояться и прошлому, и в результате была обманута и существованием, и временем — она, казалось, терпела поражение от "нашествия смыслов", т.е. от идеи[2].

Когда с воспоминанием рухнула и надежда, — а это крушение растянулось на целую повесть, — открылось: чтобы выдержать испытание событием, нужно сделать дело более простое, но и от человека требующее простоты более высокой, такой, какая была у Иова ("а человек этот был прост, и праведен, и богобоязнен, и далек от зла")[3]. При том, что о повторении неустанно рассуждает Константин Константин, сам Керкегор, задумывая повесть, желал не научного и не философского описания повторения, но стремился "дать понятию вырасти изнутри самого индивидуума и из ситуации (причем из ситуации необычной, пикантной), или же из настроения"[4]. Он "именно поэтому и обязался избавить читателей и самого себя от серьезного, пасторски важного, нравоучительного тона, наставляющего в том, что

---

[2] О "спекулятивно-платоническом" источнике категории воспоминания см. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ НЕНАУЧНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ К "ФИЛОСОФСКИМ КРОХАМ", Samlede Værker, Kbh, 1962, B.9, SS.171-172.

[3] КНИГА ИОВА цитируется в переводе С.С.Аверинцева по: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА, М., 1973, с. 563.

[4] Проницательный Й.Л.Хейберг в рецензии на ПОВТОРЕНИЕ отметил: "Автор склоняется к тому, что называют "*философией жизни*" (*Livsphilosophie*); Керкегор в общем согласился с этим определением, хотя и уточнил, что его "философия жизни" мыслит исключительно "феномены индивидуального духа" (см. Pap. IV B 118, 8).

и так всем известно" (см. Pap. IV B 111, S. 282). Но что же это, что всем известно и потому не могло быть им выражено иначе как косвенно, в обход прямых смыслов и высказываний? Сколь бы пространно Константин Констанций ни рассуждал о ценности повторения, — Регина Ольсен все равно должна, обязана была услышать другое, несмотря на спешность керкегорова письма и, главное, романтическую загадочность главных героев, чьим поискам истины идеологически подобало сохранять остроту заблуждения и как огня бежать наивности. Простое доносилось до читателя чересчур извилистым путем, предостерегавшим его от скорого объяснения события; Керкегор, более того, рассчитывал, что оно надолго, если не навсегда, останется ожидающим истолкования, сколь бы оправданно его герой и его читатель ни искали простого решения.

Повторение, на которое надеялся молодой человек, вдохновленный примером Иова, тем не менее не заключает в себе ни морали, ни поучения; самое подозрение, будто Иов заслужил повторения, ибо он, праведник, невиновен, а юноша не заслужил, потому что он, грешник, виновен[5], является ложным. Проблема повторения, как не раз подчеркивал Керкегор, принадлежит области догматики, и вместе с тем повторение — это страсть, и потому — тайна, которая утаивает себя еще глубже, когда герой, потеряв последнюю надежду, смиряется, прекращает борьбу за повторение и остается в полном одиночестве; так, по желанию автора, "проблема, выраженная во внешнем, осознается как собственнейшая из собственных (det inderligste)" (см. Pap. IV B 117, S. 283). Это одиночество не имеет ничего общего с одиночеством философского субъекта, с солипсизмом ego. Оно, напротив, открывает человеку, что повторение, начина-

---

[5] Напомним, что заключительная часть ИЛИ — ИЛИ посвящена вопросу, почему "...пред Богом мы всегда не правы".

ясь с подражания тому, кто имеет веру, может обернуться свободной и полной открытостью предстоящему.

"Повторение", как и многие другие понятия и темы Кьеркегора, оказало большую услугу мысли, — но эта проблема требует отдельного рассмотрения. Именуя страсть "великого парадоксального мыслителя в области имитации Иисуса Христа (или Сократа)"[6], повторение указывает на первоначальное движение экзистенции — постоянное возобновление, повтор, "возврат всегда-уже-начавшегося, близость к свету, зримому испокон веков"[7]. Благодаря Кьеркегору современная мысль, разнесенная между бытием (т.е. "вопросом о смысле бытия, который должен быть снова поставлен") — и письмом (т.е. проблемой языка, который удваивает действительность, не сливаясь с нею), не устает обнаруживать в повторении все новые и новые смыслы, что свидетельствует о ее большой отдаленности от раннего импульса, подхваченного Кьеркегором, — чаяния imitatio Dei, в котором человек узнает сам себя.

Данный перевод ПОВТОРЕНИЯ был сделан около ста лет назад выдающимся переводчиком Петром Готфридовичем Ганзеном, впервые познакомившим с Кьеркегором русскую публику. К сожалению, в дошедшем до нас черновике перевода недостает около четверти оригинала, восполнить пробел явилось задачей комментатора. За возможность подготовить рукопись П.Г.Ганзена к публикации я сердечно благодарна его потомкам — Марианне Сергеевне Кожевниковой и Инне Павловне Стребловой.

Д.Лунгина.

---

[6] J.Derrida, PASSIONS, P., 1993.

[7] М.Фуко, СЛОВА И ВЕЩИ, М., 1994, с. 353.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

S.V. = Søren Kierkegaard. Samlede Værker, I-XX, Kbh, 1962 — 3-е изд. под ред. П.П.Роде на основе 1-го и 2-го изд. собрания сочинений Керкегора, подготовленного А.Б.Драхманом, Г.О.Ланге и Й.Л.Хейбергом (1901-1906; дополнено в 1920-1931).

Перевод сверен, уточнен и дополнен по этому изданию (S.V., B.5).

Pap. = Søren Kierkegaards Papirer, I-XVI, Kbh, 1968-1978 — собрание текстов, изданных посмертно, подготовленное Н.Тульструпом.

К. = Сёрен Керкегор. (Наиболее близко к датскому произношению звучало бы *Кергегор*, к немецкому — *Киркегард*; неоправданно сложному написанию *Кьеркегор* и и немецко-датскому смешению *Киркегор* мы предпочитаем отчасти адаптированное к графике, отчасти к русской традиции ***Керкегор***).

К.К. = Константин Константиций, вымышленный "автор" Повторения, которому принадлежат, помимо всего прочего, и замечания историко-философского характера.

[ ] — в цитатах и заглавиях текст в квадратных скобках принадлежит комментатору.

К I ЧАСТИ:

К с. 1:

Флавий Филострат См. FLAVII PHILOSTRATI OPERA AUCTIORA, ed. C.L.Kayser, v. I-II, Lipsiae, 1870-71. К. пользовался немецким переводом : FLAVIUS PHILOSTRATUS' WERKE, ubers. von Fr.Jacobs, 1819-32, S.20. Записав в черновике фразу, превратившуюся впоследствии в эпиграф, К. в наброске плана замечает: "Эти слова Филострата могли бы стать эпиграммой на соотношение язычества и христианства" (Рар. IV A 27). Записаны и аллюзии на слово 'Frugter' ('плоды'): "Плоды же духа: любовь..." [радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание] (Галат. 5-22), подзаголовку же 'опыт экспериментальной психологии' — 'Et Forsøg i Experimentel Psyhologie' предшествуют варианты 'Et frugteløs Forsøg' 'бесплодный опыт', а также 'Et opdagelses Forsøg' 'опыт открытия' и 'Et Forsøg i Experimentel Philosophi' 'опыт экспериментальной философии' (Рар. IV B 97, 2). История осмысления и написания ПОВТОРЕНИЯ уже отчасти предрекается в этих колебаниях.

...доказал противное. См. Диоген Лаэртский, О ЖИЗНИ, УЧЕНИЯХ И ИЗРЕЧЕНИЯХ ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛОСОФОВ, М., 1979, стр.246 (VI, 39.). К.К., вероятно, приводит этот эпизод по ЛЕКЦИЯМ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ Гегеля (G.W.F.HEGELS WERKE, Bd 13, Berlin, 1833): "...циник Диоген Синопский совершенно просто опроверг такое доказательство о противоречивости движения; он молча встал и начал ходить взад и вперед; он опроверг его делом. Но там, — замечает Гегель, — где ведут борьбу доводами, допустимо лишь такое же опровержение доводами: нельзя в таком случае удовольствоваться лишь чувственной достоверностью, а нужно понять". (Русский перевод:

Лекции по истории философии, кн. 1, СПб., 1993, с. 277).

Греки учили, что всякое познавание есть припоминание ... — о знании как припоминании (ἀνάμνησις) прежнего жизненного опыта, заложенного в душе до ее нового воплощения, говорит Платон в диалогах Филеб (34 b-c), Федр (249bc), Федон (72e-76e) и особенно в Меноне (81b-86c). Незадолго до начала работы над Повторением К. записал (Pap. IV, B, 1, S.149f): "Повторение — всего лишь мысленная форма (tænkelig) того, что имело место. [...] В реальности повторение не встречается, поскольку оно происходит в один миг. В идеальности повторение отдельно также не встречается, ибо идея — это всегда что-то постоянное и потому не может повториться. Но результатом соприкосновения идеальности и реальности является повторение. [...] Однако где еще сталкиваются реальное и идеальное? [...] В сознании, в этом-то и противоречие. Отныне речь идет о том, как повторение осуществляется в сознании, а также в воспоминании. Ведь воспоминание столь же противоречиво: оно ни идеальность, ни реальность [...]".

... новая же философия будет учить, что вся жизнь — повторение. "Новая философия" — под этим подразумевается "христианская философия" в целом; "кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое" (2 Кор. 5-17). Лейбниц же, по К.К., установил одно из правил "системы всеобщей гармонии": "настоящее служит залогом будущего, и Тот, кто видит все, видит в этом и то, что будет," — Теодицея, § 360 // Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х тт., т.4, М., 1989, с.367.

К с. 8:

Один писатель... — Виктор Эремита, под псевдонимом которого К. издал книгу Или — Или, в частности,

ΔΙΑΨΑΛΜΑΤΑ (S.V. II 42). Ср. письмо К. Регине Ольсен: "Моя Регина!.. [Текущее] мгновение не покровительствует нам. Что ж, тогда предадимся воспоминанию. Это ведь моя стихия, воспоминания мои вечно свежи..." // KIERKEGAARDISKE PAPIRER. Forlovelsen, udg. for Fru Schlegel [т.е. для Регины Ольсен, в замужестве (с 1847) Шлегель; письма Кьеркегора 1840-41 гг. изданы по ее распоряжению] ved R.Meyer, Kbh. og Kristiania, 1904, S.15.

К с. 10:

... *повторение — это смысл* ... датск. 'Alvor', "серьезность", обозначающая одновременно и определенный настрой человека как условие всякого осмысления, и "существенность", которую он видит в подлежащем осмыслению. В 19 в. слово 'Alvor' еще сохраняло для датчан свое древнее (верхненемецкое) значение "истинного для всех" ('alawari', 'al-war'), т.е. "всеми признанного", а потому "призывающего к доброй воле", "готового оказать дружеский прием", т.е. осуществить своего рода "договорное дарение" (М.Мосс). Ср.: "Только из отношения свободы к своей цели рождается серьезность..." (Pap. IV B 111, S.268).

К с. 11:

Фаринелли — в драме ФАРИНЕЛЛИ (акт 3, сц. 12), переведенной знаменитым датским писателем Й.Л.Хейбергом, рассказывается о прославленном неаполитанском контртеноре (1705-1782), выступавшем под псевдонимом Фаринелли, чье чарующее пение излечило двух королей — Людовика XV Французского и Филиппа V Испанского от душевных недугов.

К с. 12:

... сыщиком высшего полета ... — датск. 'en Politi-Spion i høire Tjeneste', что может означать и "шпион на высшей службе" — так называет самого себя К. в ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ НА МОЮ ПИСАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (см. также Pap. IX A 142). "Шпионом может быть только тот, кто по отношению к целям собственной или какой-либо иной деятельности всегда остается другим, «третьим», так как должен осуществлять свои сыскные, провокативные, надзорные функции в отказе от собственного я. Благодаря этой особой отражательной способности он может проникать в любые, даже враждебные ему, среды, устраивать ловушки, плести нити тайных интриг, понуждать к откровенности, иначе говоря, извлекать повсюду необходимую ему экзистенциальную информацию" (Подорога В.А. МЕТАФИЗИКА ЛАНДШАФТА, М., 1993, с.92-93).

К с. 13:

... без конца повторял стихи Поуля Мёллера ... Поуль Мёллер (1794-1836), философ, поэт, любимый - учитель К. Ему посвящено ПОНЯТИЕ СТРАХА. Перев. П.Г.Ганзена по: Efterladte Skrifter af Poul M. Møller, 1 udg. 1839-43, 1, II.

К. с. 15:

... вечное выражение зарождающегося чувства ... См. трактат ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ БРАКА из 2-ой части ИЛИ — ИЛИ (S.V. III, 25 слл).

... если само воспоминание не болезненно ... действие смысла подобно смерти сразу после рождения; "нашествие смыслов" подкашивает человека и требует сил противостоять ему. Однако осмысление безопасно и, не причиняя боли,

лежит мертвым грузом, когда любовь сознательно переживается только в воспоминании.

К с. 20:

... *с Лессингом* ... — Г.Э.Лессинг, Предисловие к "Басням в прозе" // К.К. цитирует VORREDE ZU DEN FABELN по: LESSINGS SAMTLICHE SCHRIFTEN, Aufl. K.Lachmann, I-XIII, 1825-28.

К с. 21:

... *спасти достоинство девушки.* Ср. "...Если чувство и любовь в их внутренней сути требуют непосредственного выражения, то возникает вопрос, какое средство соответствует этой цели. Здесь нельзя упускать из виду того, что это начало требует выражения и представления во всей своей непосредственности. В опосредованном виде и отраженное в чем-либо другом, это начало может быть передано средствами языка и может соотноситься с этическими категориями." (Киркегор С. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ВОПЛОЩЕНИЯ ЛЮБОВНОГО НАЧАЛА ИЛИ МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЮБОВНОЕ НАЧАЛО [трактат 1 части ИЛИ — ИЛИ] // ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ. Памятники мировой эстетической мысли, т.3, М., 1967, с.483-496, пер. Вяч.Вс.Иванова). Молодой человек, сделав К.К., свидетелем любовной истории, тем самым усугубил ее проблематичность, выявил моральный аспект любви; К.К., анализируя любовь-проблему, только проясняет парадоксальный смысл этого аспекта.

К с. 22:

et quidem — и притом (лат.)

К с. 23:

... *изобразить ее покинутою Эльвирою.* — Эльвира — персонаж оперы Моцарта "Дон-Жуан".

К с. 25:

redintegratio in statum pristinum — восстановление прежнего состояния (лат.). Повторение, по К.К., — "восстановление прежнего состояния", с которого можно начать любовную историю заново.

К с. 26:

... *глубины понимания* ... У К.: 'Inderlighed' — букв. "внутреннее (собственное)".

К с. 27:

... *сердце "ging ihm über"* ... Герой, очевидно, хотел сказать, что у него die Augen gingen ihm über, слезы наворачивались на глаза.

К с. 30:

... *соотношение между учениями элеатов и Гераклита* ... К.К. имеет в виду воззрения элеатов, в частности, Зенона, и Гераклита на движение. "Есть четыре рассуждения Зенона о ... несуществовании движения" (Аристотель, Физика, 239 b 10). Их разбирает Аристотель в 9 гл. 6 кн. ФИЗИКИ. "Гераклит же говорит где-то: "все движется, и ничто не остается на месте". (Платон, Кратил, 402 a 8).

... *даст сто очков вперед философии Гегеля.* Подробнее об этом см. Понятие страха (1844) // Кьеркегор С. Страх и трепет, М., 1993, прим. на с. 179-180. "Мгновение" — это не-существующее, подведенное под

определение времени. [Øieblikket er det ikke-Værende under Tidens Bestemmelse]. [...] Эта категория крайне важна для того, чтобы проводить различение между христианством и всей языческой философией, а также отделять христианство от такой же языческой спекуляции внутри него самого. [...] В новейшей философии абстракция достигает своей вершины в чистом бытии; однако чистое бытие есть самое абстрактное выражение для вечности, а в качестве Ничто оно опять-таки есть мгновение. Здесь снова проявляется важность мгновения, поскольку лишь посредством этой категории можно придать вечности ее настоящее значение, ибо вечность и мгновение становятся тут крайними противоположностями, тогда как обычное диалектическое колдовство, напротив, вынуждает их обозначать одно и то же. Только в христианстве становятся понятными чувственность, временность мгновения — именно потому, что только с христианством вечность становится действительно существенной". (перев. С.А.Исаева, Н.В.Исаевой).

... *удачный философский термин.* Опосредствование, датск. 'Mediation', от лат. 'medius' "средний, находящийся посреди". Впрочем, Гегель использует слово своего родного языка: 'Vermittlung'.

... *κίνησις* К.К. имеет в виду прежде всего ФИЗИКУ Аристотеля, 3 кн. 1 гл. а также диалоги Платона СОФИСТ (254d — 256e) и ПАРМЕНИД (146a, 156b-e, 162c-164b).

"Слово «переход» всегда было и остается для логики просто остроумным выражением. Оно принадлежит сфере исторической свободы, ибо переход — это *состояние*, и он действительно есть. Когда Аристотель называет переход от возможности к действительности движением (κίνησις), это следует понимать не логически, но в связи с исторической свободой" (СТРАХ И ТРЕПЕТ, с.179).

В Pap. (IV C 47) К., конспектируя ИСТОРИЮ ФИЛОСОФИИ Б.Г.Теннемана (Tennemann, GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE, Leipzig, 1811), одобряет перевод слова

'κίνησις' как 'Anderung' (датск. 'Forandring', изменение, переход от одного к другому, преобразование).

К с. 31:

Без категорий воспоминания или повторения ... Воспоминание — род повторения. Платон: "...ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать" (Менон, 81d).

... *conditio sine qua non любой догматической проблемы.* См. об этом подробнее (Pap. IV B 120, S.308-309): "Повторение — это не просто предмет размышления, это цель свободы, сама свобода, иная степень сознания; повторение особый "интерес" метафизики и в то же время такой интерес, на котором метафизика терпит крах; повторение — выход при любом этическом противоречии, *conditio sine qua non* любой догматической проблемы, состоящее в том, что истинное повторение — вечность. Но также верно и то, что оно не поддается психологическому анализу как трансцендентальное, религиозное движение, совершаемое силой абсурда, которое имеет место, когда человек достигает границ чудесного; при этом, коль скоро проблема выражена догматически, повторение становится знаком примирения, то есть религиозным движением, которое, будь оно даже чисто диалектическим по отношению к судьбе и к провидению, не может быть схвачено при помощи имманентного опосредствования..."

... *по примеру Гамана...* Иоганн Георг Гаман (1730-1788), немецкий философ. К., как и Гегель (см. О сочинениях Гамана // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет, т. 1, М., 1970, с. 575-642.), высоко ценил Гамана.

... *Grundsätze* — основоположения, научные принципы (нем.)

... *κατ᾽ ἄνθρωπον ... κατ᾽ ἐξοχήν* — то по-человечески разумея, то следуя высшему смыслу (др.-греч.)

... *профессор Уссинг держал речь перед членами общества 28 Мая* ... Т.А.Уссинг, профессор права Копенгагенского университета, 28 мая 1837 г. произнес речь перед членами Общества 28 мая, посвященную годовщине принятия указа об учреждении совещательных сеймов (28.5:1831).

gewaltig — неробкий (нем.)

К с. 32:

... *не смогли определить, где чьи ноги.* К.К. прочитал об этом в книжке ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ О МУДРЫХ ДЕЯНИЯХ И ХРАБРЫХ ПОДВИГАХ ЖИТЕЛЕЙ МОЛЬСА, Копенгаген, 1827. Жители острова Мольс (к востоку от Ютландии) славились своей простотой и наивностью.

К с. 33:

... *две церкви* ... К.К. имеет в виду Французскую и Новую церкви.

К с. 35:

... *не посыпали друг друга пеплом* ... В среду первой недели Великого поста в католических церквах священник посыпает освященным пеплом себя и паству со словами: "Помни, человек, что прах ты и во прах возвратишься" ("Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris").

К с. 36:

auf der Eisenbahn — по железной дороге (нем.)

... побывавшему в Лондоне и не прокатившемуся по туннелю? 25 мая 1843 г. был открыт первый туннель под Темзой.

großartig — великолепны (нем.)

Schauspielhaus — театр (нем.)

"*не для одной забавы*" — девиз Королевского театра в Копенгагене.

... Ларса Матесена и Келеда ... Упоминаются хозяева двух известных трактиров на окраине Копенгагена.

К с. 38:

Сокрытая индивидуальность ... — в оригинале 'krypte' — "сокрытая в самой себе". Ср.: "Демоническое не закрывается ото всех с чем-то, нет, оно закрывается в себе самом, в этом заложен глубокий смысл существования: несвобода как раз сама и делает себя пленницей" (Понятие страха) // Страх и трепет, с.215. (В Понятии страха, точнее, К. развил романтическое понимание "демонизма", дав ему психологическое определение "страх перед добром"; демоническое, по К., это нечто "закрытое в себе самом (det Indeslutte) и несвободно открываемое", страшащееся открытости свободы). Демонизм присущ индивидуальности, настаивающей на своей сокрытости, скрытности.

К с. 39:

... могла играть в театре теней ... Данная аллегория человеческой свободы содержит и критику романтической иронии, приведшей к "совершенно неправомочной экзальтации субъективности", которой сопровождается культ "демонической личности". (см. Киркегор С. О понятии иронии (отрывок) // Логос, 1993, N 4). "Поэт лишь тогда *живет поэтической жизнью*, когда он сориентирован

в своем времени и значит, является его составной частью, когда он позитивно свободен в той действительности, которой принадлежит. Но так *жить поэтической жизнью* может каждый второй. Напротив, редкий дар, божественное счастье — поэтически выразить поэтически пережитое — становится лишь завидной участью избранных." (Там же, с. 195). Однако едва ли это под силу молодому человеку, который способен лишь поэтически продуцировать собственную субъективность, постоянно возвращаясь к самому себе.

К с. 42:

... *побывать в этом театре фарса.* В Берлине в 40-е гг. XIX в. процветал фарс особого рода, нечто вроде комических сцен из народного быта, на местном наречии.

К с. 46:

... *человек иногда умирает от гиперстении* ... Гиперстения — чрезмерное напряжение деятельности сердца и других органов, например, при горячке.

К с. 47:

eo ipso — тем самым (лат.)

... *нежели тифон* ... К.К. парафразирует реплику Сократа в диалоге Платона ФЕДР (230a).

К с. 48:

... *Бекмана и Гробекера* ... Бекман и Гробекер — два ведущих актера Kønigstädter Theater.

Сказанное Баггесеном ... В рецензии знаменитого поэта-сатирика Енса Баггесена (1764-1826) на драму

А.Эленшлегера (1779-1850) Лудлямс Хуле; К.К. цитирует Баггесена по: Danske Værker, Kbh, 1832, B.XII, S.25.

К с. 49:

Сам Рюге ... — актер, исполнявший роль царя Соломона в комедии Й.Л.Хейберга.

... *можно вызвать одно отвращение*. К.К., олицетворяющий власть постоянства и потому обнаруживающий некоторую однообразность (и принципиальную *поверхностность*) взглядов, считает, что экзистенция театрального гения и того, кто нацелен на движение веры, — впрочем, любого человека — выражает себя одинаково: через страсть. Меж тем сам К., озабоченный смыслом повторения, замечал: "Проблема героя в том, что повторение возможно. Я, однако, сначала набросал пародию на эту возможность, описывая свою поездку в Берлин в поисках повторения" (Pap. IV B 117, S. 283) — фактического повторения когда-то уже пережитого впечатления, которое захватило К.К. и превратило в пленника эстетического мировоззрения. Вопрос о смысле повторения даже не может быть им поставлен. Ср.: "смысл противостоит выражению как случайное может противостоять постоянному; выраженного смысла не существует, ибо он всегда ускользает от формы выражения, оставляя в ней следы собственного ускользания..." (Подорога В.А. Выражение и смысл, М., 1995, с. 26).

К с. 50:

... *народные гулянья в Парке-заповеднике* ... Речь идет о ежегодных празднествах в Dyrehavsbakken — лесопарке близ Копенгагена.

К с. 51:

viscera — **внутренности (лат.)**

К с. 56:

... поторопился привести в исполнение ... У К. **gjørde Alvor — привел в исполнение.**

... при условиях, оговоренных поэтом ... **Иоганнес Эвальд, выдающийся датский поэт, большой любитель кофе, написал на кофейнике: "Как дружба, должен быть настой твой крепок, горяч и чист, плод Мокко благородный! И злоупотреблять им не должно, как и дружбой"!** (SAMLEDE VÆRKER, Kbh, 1791, B.IV, S.365).

К с. 57:

... как Прозерпина, выщипывал по волоску с каждой головы ... **Древние полагали, что умершие — жертвы, приносимые подземным богам; им также посвящалась отрезаемая Прозерпиной прядь волос.** См. **напр.**, **Вергилий,** ЭНЕИДА, 697-699.

... докучная речь женщины подобна капанью дождевых капель с крыши ... "**Сварливая жена — сточная труба**", — **говорится в** ПРИТЧАХ СОЛОМОНОВЫХ, 19-13.

К с. 58:

Юстин Кернер рассказывал ... **Юстин Кернер (1786-1862), немецкий поэт.**

К с. 59:

... как торговца Гренмейера ... **Гренмейер — персонаж комедии Й.Л.Хейберга** ДОМАШНИЙ ТИРАН КЁГЕ.

К с. 61:

Весь мир ... У К. hele Tilværelse, т.е. все существующее.
с моим бытием ... У К. min Væren.

К с. 62:

... *говорится у Шекспира* — Троил и Крессида, акт 1, сц. II. К.К. читает Шекспира в немецком переводе Тика.

К с. 62-63:

В уборе белоснежном... — И.Г.Гердер, из Песен народов // Herders Volkslieder, Leipzig, 1825, Bd 1, S. 57.

К с. 64:

... *πεισιθάνατος* — "Увещевающий умереть", прозвище одного из киренаиков, философа Гегесия (III в. до н.э.), так увлекательно описывавшего смерть, что многие его слушатели кончали с собою. См. Цицерон, Тускуланские беседы, I 34, 83-84 // см. M.Tullii Ciceronis Tusculanarum disputatiorum ad M.Brutum libri quinque, M., 1875.

КО II ЧАСТИ:

К с. 65:

... *император Домициан* ... К.К. приводит этот эпизод по Светонию, ДОМИЦИАН, 3. Русский перевод: Гай Светоний Транквилл, ЖИЗНЬ ДВЕНАДЦАТИ ЦЕЗАРЕЙ, М., 1988, с.276.

К с. 67:

... *с человеком по имени Демонакт* ... Речь идет о философе Демонакте. Как сообщает Лукиан (ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЕМОНАКТА, 11), Демонакт отвел обвинения следующим образом: "Если мистерии окажутся плохими, он не сможет об этом не рассказать непосвященным, но постарается отвратить их от участия в оргиях; если же, напротив, мистерии окажутся хорошими, он всем расскажет о них из человеколюбия". // Цит. по: Лукиан. ИЗБРАННАЯ ПРОЗА, М., 1991, с.106.

Ср. Новалис: "Стоит попробовать, нельзя ли на самом обыкновенном, общепринятом языке говорить так, чтобы понимал тебя лишь тот, кому надо. Всякая подлинная тайна сама по себе исключает непосвященных. Кто же понимает, тот по справедливости и должен считаться посвященным". // Цит. по: ЭСТЕТИКА НЕМЕЦКИХ РОМАНТИКОВ, М., 1987, с. 44.

К с. 68:

... *наложил на себя руки.* Самоубийство юноши — таков был первоначальный замысел финала ПОВТОРЕНИЯ (см. Pap. IV B 97, 5-6). Однако, узнав о новой помолвке Регины Ольсен, К. изменил сюжет повести: теперь девушка

могла бы вернуться к герою лишь силой абсурда, повторения того бывшего, смысл которого так страстно искал К. "Языческая" категория воспоминания отныне резко противопоставляется христианской категории повторения. Отсюда повторение в названии II части, ведь только здесь повторение по-настоящему сбывается.

К с. 69:

... *Аристофана и Лукиана* ... "Апокалиптическими писателями" К.К. называет тех, кто описывает запредельное, например, загробную жизнь, как это делают Аристофан в ЛЯГУШКАХ и Лукиан в РАЗГОВОРАХ В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ. В Pap. IV B 97,9 К. упомянул также Й.Л.Хейберга с его пьесой ДУША ПОСЛЕ СМЕРТИ. АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ (1841), и Х.Л.Мартенсена, автора рецензии в газете Fædrelandet, 1841, N 3217.

... *doctores cerei* ... Doctores cerei, doctores cereati, т.е. фальшивые доктора — так в Англии в 14 в. называли бродячих монахов, без труда получавших степень доктора теологии в каком-либо университете за пределами страны.

К с. 70:

... *небольшое промежуточное положение.* Над подобным преднамеренным смешением мнимой и реальной смерти К.К. уже случалось иронизировать — как герою I части СТАДИЙ НА ЖИЗНЕННОМ ПУТИ, названной IN VINO VERITAS (написана в то же "Берлинское лето" 1843 года).

... *у него есть тайна* ... Свидетельство о тайне самого К.: "Я утешаюсь тем, что после моей кончины среди моих бумаг никто не должен отыскать ни единого свидетельства о том, что, собственно, наполняло мою жизнь, не должен прочесть ни строчки из письма моего внутреннего Я — письма, что все объясняет и дает пищу сплетням о каком-то

важном, но страшном событии, якобы происшедшем со мной и которое сам я значительным не считаю: ведь я вычеркиваю тайные заметки, свидетельствующие о нем" (Pap. IV A 85).

К с. 71:

... *прекраснейшие стороны любовного блаженства* ... с религиозной же точки зрения, по мнению К., поэт это несчастнейший из несчастных, "всякое поэтическое существование есть грех, потому что поэт речет — вместо того чтобы быть, соотносит себя с благом и с истиной в своем воображении — вместо того чтобы устремлять к ним свою экзистенцию". (S.V. XV, 131; ср. Болезнь к смерти (1849) // Кьеркегор С. Страх и трепет, с.305). С эстетической точки зрения, повторение невозможно, поскольку оно уже неоднократно сбывалось в воспоминании, а лучшая память — у поэта.

К с. 72:

... *захвачен возвращением* ... У К.: Tilbagevendelsen... beskæftiger ham.

К с. 75:

Новейшая философия вообще только поднимает шум ... У К.К. игра слов: выражение 'gjøre Ophævelser' значит "поднимать шум"; словом 'Ophævelse' датские гегельянцы также переводили немецкое 'Aufhebung', "снятие".

... *повторение же, напротив, всегда трансцендентно.* Ср. Pap. IV B 117, S.285: "Когда человек решается на повторение ..., он совершает трансцендентное, религиозное движение, совершает его силой абсурда, подходя к гра-

ницам чудесного. Вечность — истинное повторение. Это я и пытался сказать моему настоящему читателю..."

Далее К. в ЗАПИСКАХ просит прощения у своего "настоящего читателя" за то, что вводил его в заблуждение, неоднократно пускался в ненужные рассуждения о самых разнообразных вещах, "искажал его личность", утаивая много важного.

К с. 76:

... *поверенный* — датск. 'Medvider': "посвященный в тайну" и (как юридический термин) "укрыватель", т.е. лицо, также обвиняемое. Интересно, что за две недели до ПОВТОРЕНИЯ было написано 'ВИНОВЕН?' — 'НЕ ВИНОВЕН?' ПОВЕСТЬ СТРАДАНИЯ (так же, как и ПОВТОРЕНИЕ, "психологический эксперимент").

Теперь рассказ ведется от лица молодого человека, речь которого сразу же вносит в повествование новый порядок и смысл, что как бы лишает К.К., посвященного в его тайну, права голоса.

К с. 85:

... *один из "синих мальчиков"* ... Молодой человек имеет в виду питомцев Воспитательного дома, одетых в одинаковую синюю форму и отличавших друг друга по нашитым номерам, которые и заменяли имена.

Что славы льстивые напевы ... Цитата из сборника датского поэта-романтика А. В. Шака Стаффельда КОСТЕР ЛЮБВИ // Цит по: Schack Staffeldt, ELSKOVSBAALET, DIGTE, 1843, B. II, S. 327.

Облаков плыла усталая гряда ... Молодой человек приводит это четверостишие по-немецки:

Die Wolken treiben hin und her,
Sie sind so matt, sie sind so schwer;
Da stürzen rauschend Sie herab,
Der Schoos der Erde wird ihr Grab.

Автор неизвестен.

К с. 87:

... *верным свидетелем* ... "Свидетелем верным" евангелист Иоанн (Откр. I-5) называет Христа, своим мученичеством свидетельствовавшего об истине. Для того чтобы дорасти до повторения, молодой человек должен понять: его свидетельство перед лицом К.К. о своих безвинных муках ведет только к усилению страдания. В чем же, спрашивает герой, моя вина? Скажем, "Иов — tam, [...] т.е. простой, хороший, и ему хорошо, и с ним хорошо; кажется, злу неоткуда войти в его жизнь. Тем более поразительно, что зло входит в его жизнь", потому он и "хотел бы вести юридически правильный судебный процесс и в 31 гл. делает шаг в этом направлении, по всем правилам древнего судопроизводства заявляя о своей невиновности по всем возможным пунктам" (Аверинцев С.С. Комментарий к Книге Иова // Поэзия и проза Древнего Востока, М., 1973, с.718 и 720). Но герою потребуется немало мужества, чтобы воспринять подобную простоту.

К с. 89:

... *поставщиком душ* ... В оригинале Seelenverkooper, полунемецкое-полуголландское слово, в обоих языках означающее торговцев невольниками.

К с. 90:

cui bono? — "Кому от этого польза?" (Цитата из PRO ROSCIO AMERINO, XXX, 84 — речи Цицерона в защиту Секста Росция, обвиняемого в отцеубийстве).

К с. 91:

... *моей экзистенции.* 'Existents' в датском языке означает, помимо существования, еще существо и тип. Несмотря на то, что, как много раз подчеркивал К., "есть вещь, не поддающаяся мышлению, и это — существование" (S.V. X, 16), его все же можно попытаться описать через сравнение. Экзистенция подобна любви, страстному устремлению духа; "любовь означает открытую экзистенцию или то, что составляет целое жизни, саму жизнь как синтез бесконечного и конечного. По Платону, Эрос порожден Богатством и Бедностью и получает свою сущность от обоих родителей. Но что такое экзистенция? То самое дитя, плод бесконечного и конечного, вечного и временного, и потому постоянно к чему-то устремленный". (S.V. IX, 79).

К с. 93:

... *из "Поучений" епископа Балле* ... Над прописной моралью этого пособия иронизирует и "этик" асессор Вильгельм, автор посланий, составляющих II часть Или — Или (1842 г.) // См.: С.Киркегор. НАСЛАЖДЕНИЕ И ДОЛГ, СПб, 1894, с.341.

... *хольберговского пономаря* ... Персонаж знаменитой комедии ЭРАЗМ МОНТАНУС И.Л.Хольберга (1684-1754), называемого "датским Мольером".

К с. 95:

... *Филоктет с его жалобами* ... Страдания Филоктета, укушенного змеей и покинутого Одиссеем на пути в Трою на острове Лемнос, изображены в ФИЛОКТЕТЕ Софокла.

К с. 98:

... *страсть свободы* ... Почему только в свободе находится место для правоты Иова? По К., "свобода — это то, что расширяет" (ПОНЯТИЕ СТРАХА, с. 215), открывает возможность, и суд, которого жаждет герой, здесь в конечном итоге над свободой: существует ли она? Она родилась вместе с экзистенцией и так же, как и последняя, должна себя отстоять, — в чем и заключается повторение: существование (Tilværelse) есть, и при этом оно должно быть повторено, исполнено (Existents), испытано (Prøve, проба). Без собственно свободы не бывает сознания своей правоты.

Им движет чисто демоническая страсть, требующая отдельного психологического рассмотрения. К. предпримет такое рассмотрение в ПОНЯТИИ СТРАХА. См. русский перевод в: СТРАХ И ТРЕПЕТ, с. 210-225.

... *давший ему это самосознание.* Ср. схему пути, проходимого свободой, которую позднее набросал К. (Pap. IV B 117, S. 281-282):

"Понятие повторения, коль скоро оно продумывается в сфере свободы, имеет свою историю, так как свобода проходит несколько стадий, прежде чем прийти к самой себе.

а) На первой стадии свобода определяется как желание или в желании. Его осуществление представляет собой повторение, но такое повторение способно с помощью некой колдовской силы поймать и связать свободу и тем самым обмануть ее в первый раз. Но все же, несмотря на всю хитрость желания, повторение себя обнаруживает. Свобода же —

отчаивается, и в то же мгновение она проявляется в более высокой форме. b) Свобода, определенная как ум. Здесь свобода пока что заключена в конечное отношение к своему предмету и определена эстетически-двусмысленно. Существование повторения допускается, однако свобода (в качестве ума) постоянно стремится извлечь для себя из повторения новые стороны [...] Об этой стадии идет речь в СЕВООБОРОТЕ [Трактат из I части ИЛИ — ИЛИ]. Меж тем свобода, определенная как ум, определена только конечно, но повторение снова должно себя показать, — подобно фокусу, с помощью которого ум очаровывает повторение и тем самым превращает его во что-то иное. Ум приходит в отчаяние. c) На третьей стадии свобода стремится к высшей своей форме, в которой она определена в отношении к себе самой. Здесь все меняется, и происходит это прямо противоположно первой стадии. Высший интерес свободы состоит в том, чтобы восстановить повторение, но порождает она лишь изменение, могущее исказить ее вечную сущность. Однако сейчас проблема очевидна: *возможно ли повторение.* Свобода — это и есть повторение. Но может так случиться, что эта свобода индивидуума, направленная, так сказать, на внешний мир, проявится лишь как результат и не сможет вернуться назад (т.е. повторить себя). Тогда все потеряно: тогда свобода порождает не повторение, но изменение, хотя то, к чему она стремится, — повторение, а не изменение. Подобное желание повторения характерно для стоицизма, [...] оно противоречиво в самом себе, это ничтожение самого себя, поскольку оно желает сохранить повторение, — а это все равно что подальше отбросить вещь, дабы уберечь от опасности. [...] Но на смену стоицизму приходит противоположное, подлинно религиозное движение — в котором повторение выражается по-настоящему..."

К с.99:

integer — неустанно (лат.)

К с.101:

... *упразднить всякую действительность* У К.: suspendere; СТРАХ И ТРЕПЕТ, написанный сразу вслед за ПОВТОРЕНИЕМ, расширяет и обостряет проблематику последнего. В истории Авраама ставится вопрос о телеологическом отстранении (Suspension) этического, диктуемом абсолютным долгом перед Богом, повинуясь которому, верующий вступает в парадоксальное, абсолютное (от лат. 'ab-solvo' 'отделяю'), особое отношение к этическому, т.е. всеобщему.

К с. 103:

Так Иов оказался неправым? Ср. Pap. IV A 256: "Даже если человек совершенно прав, пред лицом Бога он должен всегда мочь выразить нечто более высокое — свою неправоту, ибо никому не дано быть абсолютно в себе уверенным".

К с. 104:

suspen so gradu — здесь: затаившись (лат.)

К с. 109:

... *налагала на него обязательства* ... У К.: Ideen ... skyldte han ... den Elskede og sig selv, т.е. делала его заложником возлюбленой и самого себя.

... *только серьезности* ... У К.: Inderlighed.

К с. 110:

31 мая. Здесь начинается финальная часть ПОВТОРЕНИЯ, переписанная К. заново после известия о новой помолвке Регины (июль 1843 г.). Первоначальный вариант рукописи был уничтожен. Комментатор П.П.Роде (S.V. 5, 280) считает, что заключение, написанное в спешке, производит впечатление искусственно присоединенного к тексту; он также обращает внимание на неожиданную смену главного персонажа: вместо молодого человека героем становится читатель.

... существование видится мне прекраснее, чем когда-либо. "Разве же это серьезно? —Молодой человек добивается повторения, но комическим способом", — утверждает Уолтер Лоури (Lowrie W. KIERKEGAARD, N.Y., 1962, v.1, p.258). Как временное оттеняет вечное, комическое подчеркивает серьезное благодаря иронии, ведь "ирония ревнует к серьезности" и обнаруживает комичность неподлинной серьезности (ПОНЯТИЕ СТРАХА, с.237), но, с другой стороны, устраняет это противоречие в вечности: "временность пронизана вечностью и сохраняется в вечности; однако там нет и следа комического" (с. 241).

К с. 111:

Я снова стал самим собою. Подлинное повторение состоит в том, что человек снова обретает (gjen-tager) потерянное, памятуя о потере. Ср. "Не обрел ли я вновь самого себя, и именно в том, что смог двояко пережить смысл (føle Betydning) происходящего?" (Pap. IV B 117, S.284), т.е. смог понять повторение, сообщив мыслительному усилию экзистенциальное измерение.

является истинным повторением. Ср. 2-е прим. к с. 75.

... *Илифия не разожмет пальцы* ... Илифия — богиня, покровительница рожениц. См. Овидий, Метаморфозы, IX, 285 сл.

К с. 112:

... *обрел жизнь или утратил.* Ср.: "В реальности повторение не встречается, в идеальности тоже... Но когда идеальность и реальность соприкасаются, наступает повторение" (Pap. IV B 1, S. 149-150). Повторение для молодого человека, "принадлежащего идее", по-прежнему остается проблемой.

К с. 114:

август 1843 г. В рукописи стоит: июль 1843 г.

... *чтобы еретики их не понимали.* Это послание к "настоящему читателю", как и последнее письмо героя, — мгновенная реакция К. на известие о помолвке. Его следует прочитывать быстро, помня о том, что первым и самым настоящим читателем этой книги является Регина Ольсен. Но К.К. также не случайно ссылается на Климента Александрийского (II-III в.), поставившего рядом эллинскую культуру и христианскую веру, поскольку тот считал, что христианство и есть подлинная философия. Сами же эллинские философы, по мнению Климента, "были воры и разбойники: еще до пришествия Спасителя заимствовав у еврейских пророков частицы истины, они не сознаются в этом, но присваивают их себе как свои собственные учения" (цит. по: Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия, М., 1992, с.250). К.К. уподобляется Клименту, автору аллегорического, тайного послания посвященным: Повторение, как и Или — Или и Страх и трепет, — книга, написанная, чтобы быть понятой прежде всего Региной, а так же теми, кто способен, читая, прозревать

"внутреннее", соучаствовать в творчестве; в глазах автора невдумчивые читатели, конечно, схожи с иноверцами, глухими к подлинному смыслу повести.

К с. 116:

... *исчезает и общее, и частное.* Прозорливость К.К.: гегельянец профессор Й.Л.Хейберг в рецензии на ПОВТОРЕНИЕ (АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ГОД, в ежегоднике "Урания на 1844 г.") обнаружил невнимательное отношение к мысли автора (К. подозревал, что Хейберг так и не одолел всей книги до конца!) и вследствие этого полное ее непонимание: повторение в природе и в сфере духа, замечал Хейберг, происходят совершенно по-разному и имеют разный смысл, автор же невольно смешал две категории. В царстве свободы повторение, подобное природному феномену, невозможно. Эта рецензия толкнула К. на ответ "господину профессору", который по сути представляет собой своеобразный реферат ПОВТОРЕНИЯ, развернувшийся почти на сорок страниц (Pap. IV B 110, 111, 117). "Во всей книге, — пишет К., — я не сказал ни слова о повторении в явлениях природы. Я говорил о повторении как проблеме свободы. Знаменательно, что у греков свобода еще не полагалась как свобода; ее первым выражением стало воспоминание, ведь только в воспоминании свобода получает вечную жизнь. Современный же взгляд должен продумывать свободу, устремленную вперед, в будущее, а в этом-то как раз и заключается повторение" (Pap. IV B 111). См. также одно из примечаний Введения к ПОНЯТИЮ СТРАХА // СТРАХ И ТРЕПЕТ, с. 124-125.

... *быстроты имитации движения* ... У К.: kræver Hurtighed i at eftergjøre Bevægelser. Речь идет о "быстроте имитации движения" веры. Интересно проследить, как К., продумывая экзистенцию посредством понятий субъективности, самости, "отдельности", развивает тему мимесиса от

ПОВТОРЕНИЯ к СТРАХУ И ТРЕПЕТУ, от вселяющей надежду истории Иова — к абсолютной невозможности какого-либо заимствования у Авраама, который "никогда не учитель, но всегда только свидетель" (СТРАХ И ТРЕПЕТ, с.77). Однако в обоих случаях речь идет о повторении экзистенциального движения. Ср.: "совместить в одном экзистенциальном плане имманентный и трансцендентный планы движения: не только выявить с помощью изображения движения (письмо), как устроены сами тела, которые в него вовлечены, но и добиться того, чтобы тот, кто исследует эти движения (читатель — [или герой ПОВТОРЕНИЯ]), мог включиться в само движение, даже если бы ему в таком случае пришлось пережить свою собственную «смерть», катастрофу чтения". (Подорога В.А. ВЫРАЖЕНИЕ И СМЫСЛ, с. 113).

К с. 119:

... *с целым миром* ... У К.: hele Tilværelsen, существование в целом, существование сущего.

... *получая от существования как бы отпущение грехов* ... У К.: Tilværelsen absolverer ham: отделяя (absolvo) его от себя, существование отпускает его в абсолютное с собой соотношение.

... *внутренним настроем* ... У К.: Inderlighed.

... *его собственное, удвоенное, сознание становится повторением*. Такой перевод предлагает П.Г.Ганзен. Однако, принимая во внимание дневниковую запись К. (Pap. IV B 111, S. 270): "[в заключительной части] повторение дано только в сжатом виде — собственно как повторение индивидуальности, исполненной новых сил, открывшей новые возможности (i en ny Potens)... В таком повторении — глубочайший интерес свободы", следует уточнить, что фразой "bliver for ham den anden Potens af hans Bevidsthed

Gjentagelsen" К. говорит: молодому человеку повторение открывается как новая способность его сознания, как сила, возносящая его над действительностью, ставящая его в абсолютное отношение к ней. ("Новая способность сознания — это повторение, в котором новое имеет абсолютное значение по отношению к происходящему, качественно отлично от последнего", S. 290). Понимание смысла происшедшего события равнозначно обретению силы, силы продолжать жить.

К с. 120:

... *факты сознания* ... У К.: Bevidstheds-Factum, вслед за Фихте.

... *религиозное чувство затаивалось, уходило глубоко внутрь, превращаясь в скрытое основание.* У К.: Det Religieuse gaaer til Grunde, в гегелевском смысле — подавлялось, сохраняясь.